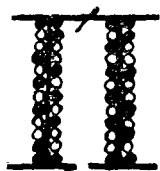


**ВЛАДИМИР
ТЕНДРЯКОВ**



**УТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЙ
В ВЕК**



**НАУЧНО-
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ**



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО 1985

Разговор пойдет о сказке.

Неправдоподобно, чтоб мужицкий сын Иванушка, презираемый дурачок-лапотник, стал царем. Досужий вымысел. Неправдоподобно, чтоб ковер мог летать по воздуху, чтоб Садко — богатый гость опускался на дно морское, возвращался оттуда живым и невредимым. Сказка не жизнь, а где-то над жизнью — так считали наши предки.

Впрочем, они часто верили в свои сказки: Иисус Христос после смерти остался жив и вознесся на небо; Иисус Христос прошел по воде «яко по суху», не замочив ног; первая женщина сотворена из ребра мужчины... Верили: так было, так могло быть, но человек тут ни при чем, — все это сверхчеловеческое, некая непостижимая божественная сила. И опять не жизнь, а над жизнью. А сейчас...

Разрабатывается искусственный, электронный мозг, который будет иметь размеры меньше человеческой головы...

Двенадцатилетнему мальчику «пришили» руку, отрезанную поездом, в запястье стал ощущаться пульс — значит, рука живет...

Нервы из металла...

Можно ли сделать Венеру обитаемой?

Это похоже на фантастику, не правда ли, пахнет сказкой? Нет, не сказка, это случайные выдержки, заголовки, взятые из современного серьезного журнала. Жизнь не только догоняет вымысел, а порой перегоняет его.

Однако это вовсе не значит, что сказка в скором времени исчезнет совсем, заменится трезвой былью, Просто она из недо-

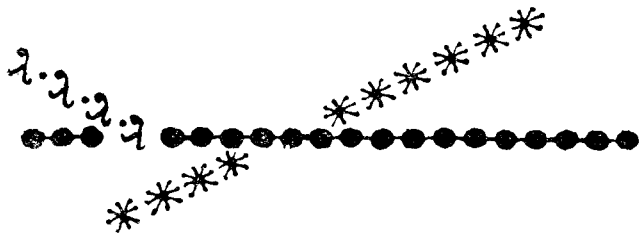
ступного, из области божественного перекочевывает в наше будущее. Бородатого сказочника начинает заменять научный фантаст. Древний сказочник, что мечтал летать по воздуху, создавал в воображении ковер-самолет, вряд ли надеялся, что он сам или его сын, внук, даже правнук полетят, как птицы. Он верил, что богом человеку предопределено ходить по земле, не летать. Современный фантаст, описывая путешествие к далеким планетам и звездам, рассчитывает, что они сбудутся. Безднадежность перестала быть уделом сказки.

И уж если сказка перекочевала в будущее, то к ней должны быть иные требования. Наше будущее, несмотря на свою фантастичность, реально. Поэтому и современная сказка должна нести реалистические черты.

Мало того, к будущему нельзя относиться безответственно, несерьезно. Описывать будущее, как некий розовый рай, населенный блаженными, — значит, обманывать самих себя. Наверняка среди грядущих поколений будут конфликты и противоречия, о которых сейчас мы лишь смутно можем догадываться. Марксистская диалектика учит, что не может быть общества без противоречий, застывшего, неразвивающегося, без поступательного движения вперед. Мечтать о неподвижности так же естественно, как психически нормальному человеку мечтать о могиле. Будут противоречия, столкновения — значит, в среде людей неизбежно будут гордые победы и горькие поражения, свои радости и свои несчастья, удачники и неудачники, рождения и смерти. В этом, наверное, и есть беспокойное счастье бытия.

Но стоп! Могут подумать, все, что здесь сказано, — крупная завязка к сказке, которая пойдет дальше. Нет, проблем будущего она не решает: слишком непосильная задача; просто хотелось бы представить далекие будни, не больше. Представить в силу своего ограниченного воображения.

Итак, сказка на современный лад.



1

В ИНСТИТУТЕ мозга шёл странный мировой чемпионат.

С разных концов земного шара съехались феномены памяти. Одни декламировали пудовые телефонные справочники, как стихи, другие — антологии поэзии того же веса отбарabanивали, как телефонные справочники. Находились и такие, которые ради спортивного интереса заучивали от корки до корки технические энциклопедии.

Виртуозов запоминания телефонных справочников отмечали научным термином «ассоциативно недостаточны» и отправляли домой.

С особой тщательностью проверяли тех, кто обладал могучей избирательной памятью. Из трехсот человек без труда отобрали десятерых. Из этого десятка уже после двухмесячных упорных испытаний осталось трое. Из троих после некоторых колебаний выбрали одного, абсолютного мирового чемпиона памяти. Им оказался Александр Бартенев, двадцатипятилетний кандидат физико-биологических наук из Москвы.

С верхушки молоденького деревца скворец, черный, как монах со старинной гравюры, глядел с чванливым высокомерием на долговязого человека. Неожиданно скворец сорвался в воздух...

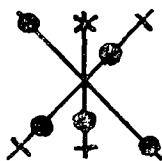
По солнечной дорожке, на которой лишь кое-где расплескана жидкая тень, бежала девушка-лаборантка — трепещут полы спящего халатика, трепещет по-майски яркая листва на деревьях, и блестят в улыбке плотные зубы.

— Он зовет вас... Скорей!

Он, директор Института мозга, прославленный академик Шаблин, звал к себе чемпиона памяти Александра Бартеньева.

Бартеньев поспешно зашагал к дверям главного корпуса. Рядом с ним нетерпеливо бежала лаборантка.

2



УРНАЛИСТЫ описывали наружность Шаблина: «Атакующий лоб, остроотточенный, как клинок, профиль...» На портретах он выглядел худощавым брюнетом с обычным лбом, большим носом, с зазывной хитрецей в узко посажен-

ных глазах.

В просторном, даже чересчур просторном кабинете, куда ломилось умытое весной солнце, встал из-за стола поджарый человек в мятой рубашке, пузырящихся на коленях брюках — своего рода щеголь из признанных. Родоначальником этого щегольства — смирение паче гордости — по нечаянности стал Альберт Эйнштейн, носивший растянутый свитер и потертую кожаную куртку. Высокий, прямой Александр Бартеньев в своем новом, тщательно пригнанном костюме, от

носков туфель до макушки начищенный, отутюженный, приглаженный, выглядел рядом со знаменитым ученым, как принц крови, — величественный, торжественный и... робеющий.

Цепкое пожатие сухой, крепкой руки, цепкий взгляд в самые глаза, в глубь их, на дно.

— Сядем.

За время, проведенное в этом институте, Александр видел его несколько раз, дважды слушал его лекции, но только сейчас его поразила энергия сухощавого, словно наэлектризованного лица.

При жизни возведенный в великого, в одинаковой степени физик и химик, физиолог и гистолог, глубокий теоретик и тонкий экспериментатор. Его «Исследование белка нервной клетки» потрясло весь научный мир, когда Бартеньева еще не было на свете, а Шаблину исполнилось едва столько же лет, сколько сейчас Бартеньеву.

Кабинет прост, пустоват, даже аскетичен. Рабочий стол, с перламутровым отливом телеэкран на нем, маленький круглый столик в углу, мягкий диван обнимает его...

Бартеньев разочарованно оглядывался.

О кабинете Шаблина ходили по белу свету легенды: будто бы здесь под своим личным присмотром видный ученый хранил искусственный человеческий мозг.

Электронных мозгов создано достаточно, но мозг из выращенных в лабораториях нервных клеток — единственный экземпляр в мире.

— Вы любите путешествовать? — неожиданный вопрос.

— Не очень, — ответил несколько ошарашенный Бартеньев.

— Насколько я знаю, вы интересовались древними рукописями, океанской фауной, проблемой гравитации и еще чем-то...

Александр нахмурился.

— Сам знаю, это моя беда.

— Напротив, любознательность похвальна.

— Можно всю жизнь остаться в любознательности профессионалом, во всем остальном — дилетантом.

— А если я, соблазненный вашей любознательностью, предложу вам место в нашем институте?

— Вы же знаете, профессор, работать в вашем институте — для каждого большая честь.

— Отлично. Сообщите, что вы знаете о звезде Лямбда!

— Лямбда Стрелы?

— Именно о ней.

Вопрос не только легкий, но и до смешного наивный. Для жителей Земли после Солнца не существует на небе более знаменитого светила, чем эта слабая звездочка; любой школьник из первого класса подробно расскажет о ней. И потому, что детский вопрос задается ему, как-никак победителю в чемпионате энциклопедистов мира, Александр растерялся: «Подвох?» Как всегда, когда бывал озадачен или нужно слегка напрячь свою безотказную память, он бережно коснулся правого виска сложенными в щепоть пальцами. И этот привычный жест его успокоил, память сработала, перед глазами выросла страница астрономического справочника. И по этой «мысленной» странице Александр стал читать деловитым, бесстрастным, как стиль самого справочника, голосом:

— Лямбда Стрелы — звезда четвертой величины, спектральный класс «жэ ноль», расстояние от Солнца — 36 световых лет 150 световых дней, с допусти-

мой ошибкой в ту или другую сторону на 35 световых часов. Температура на поверхности на 300 градусов больше, чем у Солнца. Светимость — в полтора раза больше. Масса...

— Хватит! Хватит! — замахал сухой рукой Шаблин. — Убьете меня своим профессиональным речитативом.

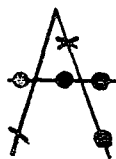
— Зачем вы это спрашиваете, Игорь Владимирович?

— Предлагается путешествие... Да, не удивляйтесь, к Лямбде Стрелы. Да, да, вам...

Расширяющееся от острого подбородка ко лбу в четких морщинах лицо, тронутые сединой жесткие волосы, темные, колючие глаза... Хочется вытянуть из этих глаз упрятанную искорку, уличить в насмешке, но взгляд прям, серьезен, даже суров. С ума спятил старик.

Александр передернул плечами.

3



ВРААМ родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Жесточайшая война середины двадцатого века родила радар, радар родил мирный астрономический радиотелескоп. Человек не только стал видеть Вселенную, но и слышать ее. «Уши» оказались более чуткими, чем «глаза», космос на слух охотнее открывал секреты.

И появилась соблазнительная возможность подслушать, не бросят ли сигналы жители других звездных систем. Не одна же Земля во Вселенной укачивает племя разумных существ, наверняка не мы одни создали высокую цивилизацию.

В конце 1960 года Национальная радиоастрономическая обсерватория Соединенных Штатов Америки начала «прощупывать» две звезды, очень похожие на наше Солнце, — Тау Кита и Эпсилон Эридана, удаленные от нас на одиннадцать световых лет. Но звезды молчали.

В те же годы в Москве, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, стали прислушиваться к туманности Андромеды.

Слышен был шум и треск мертвой природы. Кажется, люди Земли одиноки в необжитом мироздании.

Одиноки?.. Примириться? Может, где-то страдающие от одиночества разумные существа тоже слушают и ждут клича. Так возьмем роль вселенских глашатаев на себя!

На разных материках начали строить грандиозные передаточные станции, распростертые к небу антенны открыли прицельный огонь по звездам, напомиавшим наше Солнце... Откликнитесь!

Взывать и ждать отклика от звезд — неблагодарный труд. Пока-то долетит весточка, пока-то вернется ответ, пройдут столетия, а может, тысячелетия, — тот, кто спрашивает, будет лежать в могиле.

И шло время. Космические лайнеры прокладывали трассы за Марс и Юпитер, всюду искали признаки жизни. Марс разочаровал: жалкие мхи, несколько видов насекомых... В глубинах гигантской атмосферы Юпитера, в сумеречной, парной темноте, в океанах аммиака, похоже, таилась какая-то загадочная жизнь, ничем не напомиавшая земную.

Шло время. Земля взывала к звездам. Звезды молчали.

И вот старейшая Серпуховская радиообсерватория получила сигналы на волне в 21 сантиметр. Аппарат

принял их, равнодушно записал на ленту колючие зубцы — именно так выглядит «голос» Вселенной, знакомый и уже надоевший голос мертвой природы. Но среди тесного частотола зубцов астрономы заметили едва уловимую неправильность, какую-то робкую накладку в виде тупых выступов. Как археологи из праха откапывают черепок по черепку, чтоб потом составить старинную вазу, которая расскажет о жизни давно исчезнувшего народа, так и астрономы штришок за штришком из мусора космических шумов вылутили сигналы: выступ на ровной линии, чуть дальше — два выступа вместе, потом — три, четыре, пять... до десяти, а затем снова — один, два, три... Странные сигналы! Но странные ли? Наоборот, привычные. Именно такие сигналы посылали люди с Земли, сообщая Вселенной свою десятизначную систему как позывные...

Их кто-то вернул, кто-то произнес земной пароль.

Не все сразу поверили в этот пароль. Раздались голоса: а не отражение ли земных радиоволн, не космическое ли это эхо?

Но сигналы продолжали идти, их уже улавливали почти все радиообсерватории мира. Простые позывные и более сложные сообщения, требовавшие расшифровки.

Сомнения рассеялись: из глубин Галактики слышен был осмысленный голос. Конец безмолвию, конец одиночеству.

Голос шел из созвездия Стрелы, от звезды, помеченной на астрономических картах греческой буквой «лямбда». Она была едва видима на ночном небе простым глазом, примерно так, как видна слабая звездочка на изгибе ковша Большой Медведицы.

Сразу же во всем мире была установлена «Служба Лямбды Стрелы».

Мгновенно родились две новых отрасли науки — астрономическое дешифрование и лямбдоведение.

Каждый день приносил открытия: в системе Лямбды Стрелы всего семь планет, жизнь процветает только на второй от светила. Эта планета кружится примерно на таком же расстоянии от своего «солнца», как и Земля, их год почти равен нашему, а сутки длиннее в два раза. Она заметно массивнее Земли, атмосфера ее гуще, климат немного жарче.

В сообщениях из космоса эта планета означалась двумя короткими импульсами, то есть «Вторая в системе», у людей же она сразу получила имя «Коллега», ее жители — «коллегиане».

Земля слышала Коллегу. Коллега слышала Землю, но об оживленной беседе нечего было и думать. На первых порах эта беседа напоминала разговор двух глухих. Что поделаешь: ответ на вопрос приходилось ждать больше семидесяти лет!

Но ответов и не ждали, приблизительно знали, что именно должно интересовать их, а потому сообщали, что могли, как могли. Сначала посылались и принимались примитивные сообщения, год за годом они усложнялись — от десяти точек, означавших десятичную систему, до радиуса Земли, от простейших уравнений до сложных формул, объяснявших высшее строение человеческого тела. В течение первого семидесятилетия создавались независимо друг от друга два звездных языка, два кода — наш язык и язык коллегиан. В течение второго семидесятилетия эти языки постепенно сливались в один общий, объемистый, которым можно было уже передать химический состав протоплазмы и конструкцию межпланетного лайнера, свойства электронных оболочек в атомах и экономическо-социальное устройство общества.

Сейчас шло третье семидесятилетие, или, как называли, третий «коллегианский век».

Связь с планетой Коллега казалась людям фактом, подернутым вековой пылью истории. Каждый из жителей Земли родился тогда, когда голос из созвездия Стрелы давным-давно звучал, к нему относились как к чему-то обыденному.

Время от времени вспыхивала «коллегианская мода». А так как рядом с новыми Пушкиными и Бетховенами еще существовали мастера поделок, то с эстрад можно было услышать и песенки: «Коллегианочку любить хочу...»

Женщины носили прически «стрела в облаках», шили юбки «лямбда», мужчины брились бритвами «Коллега», тридцать шесть лет — расстояние от Солнца до знаменитой звезды — называли «небесный возраст».

Писатели-фантасты (и не только фантасты) посылали героев своих романов в гости к коллегианам, где они учились коллегианской мудрости, храбростью и находчивостью спасали благородных и кротких жителей славной планеты от всевозможных космических бед. Установилось ходячее мнение, что коллегиане отличаются необычайной добротой, миролюбием, душевной щедростью. Люди приписывали небесным собратьям то, что они больше всего ценили на Земле.

Писатели с легкостью перекидывали героев через пространство в тридцать шесть световых лет, ученые же признавали свое бессилие. Фотонная ракета! До сих пор она миф, чем дальше, тем несбыточнее. Нужны мощнейшие магнитные поля, которые бы смогли удерживать в себе, как в закупоренных бутылках, запасы антивещества, служащего топливом фотонной ракеты. Хранить его в огромных количествах практически невозможно, проще устроить завод по выработке антивещества.

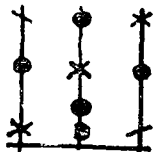
щества. Целый завод! И нужно как-то поддерживать специальное, размерами в десятки километров газовое зеркало, которое бы отражало лучистую энергию, иначе она превратит всю ракету в пар. А особая защита от микрометеоритов и метеоритов!.. А защита от атомов водорода, рассеянных по всей Галактике, которые, налетая на корабль, становятся колоссальным потоком космических лучей, способных мгновенно убить все живое! Словом, масса такой ракеты равнялась бы массе целого континента, даже больше, и, чтоб разогнать этот «материк» до скорости, близкой к световой, нужна энергия, намного превышающая энергию всех электростанций энергетически высоко оснащенного земного шара.

Даже среди самых отъявленных фантастов, не говоря уже о скептическом ученом мире, идея фотонной ракеты начала терять своих сторонников еще в прошлом веке.

И самая ближайшая звезда Проксима Центавры недоступна, а что говорить о Лямбде Стрелы, путь до которой чуть ли не в десять раз дальше!

Все это Александр Бартенев прекрасно знал и потому не столько с недоверием, сколько со страхом глядел сейчас на Шаблина. Что с ним?

4



АБЛИН спокойно встал из-за стола, взял стул, сел напротив — колени в колени, глаза в глаза.

— Не пугайтесь, я не сошел с ума.

— Странная шутка, Игорь Владимирович.

— Это не шутка.

— Н-не по-нимаю...

— Для того и собраны были вы все сюда, чтобы подыскать подходящего космонавта. Выбор пал на вас.

— Космонавта?.. Ни больше, ни меньше — к Лямбде Стрелы?

— Ни больше, ни меньше...

Александр в смятении поглаживал висок, увиливая от негнущегося взгляда Шаблина, и все же старался мельком заглянуть в глубину его глаз, еще надеясь уловить насмешку.

— Фотонная ракета?.. Строилась в секрете?.. — спросил он.

— Фотонная?.. Гм... Неужели есть еще стародавние бароны Мюнхгаузены, замораживающие звук рожка, чтобы насладиться его пением на досуге?.. Нет, мы попробуем изобрести граммофон.

— Значит, граммофон изобретен?

— В какой-то степени да.

— Так на чем же я полечу?

— Верхом на радиоволнах. Удобно и довольно быстро — каких-нибудь тридцать шесть лет — и вы там.

— Ничего не пойму!..

— Собственно, полетите не вы, а ваша душа.

— Душа-а?!

Шаблин взял со стола обширный лист бумаги, протянул.

— Не догадываетесь, что это?

Весь лист сверху донизу занимала многоэтажная, со спадами и взлетами, с бесчисленным частokoлом башен и контрфорсами — величественное архитектурное сооружение — химическая формула.

— Ну?..

— По-видимому, формула какого-то белкового соединения...

— Больше того, это формула клетки вашего мозга.

— Н-не понимаю...

— Как вы думаете, можем мы ее передать на Коллегу?

— Наверно.

— Передаем куда более сложные вещи. А если б они нам передали формулу клетки мозга какого-нибудь коллеганца? Смогли бы мы создать в своих лабораториях ее живую, функционирующую копию?

От оглушающей догадки Бартедьев почувствовал дрожь в коленях.

— Вы, кажется, собираетесь...

— Да, собираемся.

— Передать клетка по клетке состав человеческого тела?

— Попадание неточное. Весь человеческий организм? Двадцать тысяч миллиардов клеток?.. Многонько. Да и посудите, так ли уж нужно передавать почки, селезенки, легкие, скроенные по земной мерке. Там они будут плохо служить. А нам нужно, чтоб наш посол на планете Коллега не лежал в ватке, а действовал, ездил, изучал жизнь, влезал во все дырки. Нет, не собираемся передавать вас со всеми потрохами...

— Мозг?..

— Да, мы передадим только ваш мозг, ваш интеллект, вашу душу. А там пусть они всадят ее в тело какого-нибудь стройного коллеганина.

— И это возможно?

— А почему нет? Их жизнь держится на тех же двадцати столбах, на двадцати аминокислотах. У них та же левая асимметрия...

Александр стискивал ладони коленями.

— Мозг! Но и это чудовищно много... Больше десяти миллиардов клеток в одной только коре...

— Ничего не попишешь, телеграммка получится несколько длинноватой. Не так уж и страшно. Справимся. А потом, зачем передавать все клетки, запрограммируем и передадим только то, что отличает вас, Александра Бартеньева, от всех других, ваши индивидуальные особенности, вашу память, ваши знания, привычки — все ваше без остатка, выраженное в молекулярно-химических изменениях ваших клеток.

— Что потребуется от меня?

— Только одно: натренироваться и предоставить свой мозг, чтобы мы его смогли сфотографировать со всеми подробностями.

— А потом?

— Потом эту фотографию переложим на математический код, отправим на радиостанцию, они запустят ваш интеллект в дальнейшее путешествие, так сказать в радиоволновой упаковке.

— И я останусь с вами?

— Такой же невредимый, как и сейчас. Вас, поверьте, не убудет. Если я сниму мерку с этого стола, он не станет менее качественным.

— У меня окажется духовный двойник?

— Да, лет так через сорок, за миллиарды километров, на планете Коллега.

— Невероятно!

— Но, согласитесь, удобнее путешествия не придумаешь.

— Почему именно мой мозг? Наверняка можно найти более достойных...

— Нужно, чтоб посол на Коллегу носил под своим черепом — простите за вульгарное сравнение — обширнейшее складское помещение, куда бы мог спрятать максимум сведений о жизненном укладе, об искусствах, о науках, о привычках коллегиян. Да и с

Земли в подарок коллегиянам тоже кое-что нужно захватить. Никаких записей, никаких дневников с собой не возьмешь — только память. А свойства памяти можно сохранить почти без потерь.

— Он вернется обратно?

— Разумеется. Командировка... Мы передаем, там восстанавливают, год живет среди коллегиян, с его нагруженного новыми информациями мозга снимают копию, пересылают нам, мы восстанавливаем и учимся от него живому разговорному языку коллегиян, слушаем лекции об их быте. Мы?.. К сожалению я-то уж, во всяком случае, не протяну еще семьдесят с лишком лет. Да и вам, пожалуй, трудно рассчитывать на встречу.

Шаблин встал. До сих пор его лицо было насмешливо-воодушевленным. Чувствовалось, что прославленному ученому доставляет детское удовольствие наблюдать ошарашенность Александра Бартеньева. Сейчас черты лица отяжелели, в глазах пропал блеск.

— Знаете, кто самый страшный враг человеческого разума? — спросил он сурово.

— Отвечают обычно: сам человек.

— Ерунда. Внутрисемейные неурядицы по-семейному утрясем. Верю. Хотя я не социолог, на моей обязанности — воевать с внешним врагом, с окружающей природой.

— Кто же тогда все-таки враг? — спросил Бартеньев.

— Пространство! Нет ничего более неподатливого на свете.

— Как так?

— Человечество похоже на былинного богатыря, у которого высохли ноги. Чувствует силу — раззудись, рука, развернись, плечо, — мог бы показать свою удаль,

а приходится сидеть сиднем на печке или ползать по горнице, в лучшем случае выползти во двор, по-стариковски погреться на солнце. Богатырю — по-стариковски!.. От дальних Галактик свет идет шесть миллиардов лет, а человечество и всего-то живет какой-нибудь миллион. Более или менее разумным оно стало всего шесть тысяч лет назад. Шесть миллиардов и шесть тысяч — век горы и век однодневки. Но за свой куцый век человечество узнало о существовании и этой Галактики и о масштабах пространства, а вместе с этим узнало и горькую истину — оно приковано к своей печке. Все можем победить, но только не пространство. Чем больше будет крепнуть наш разум, тем сильнее мы станем ощущать отчаяние перед непобедимым, равнодушным, не замечающим нас врагом. Отчаяние...

В темных глазах угрюмо тлеет мрачный огонь, резкие морщины стали жесткими, неприятными. Бартенев с удивлением разглядывал человека, страдающего оттого, что недоступно до бессмысленности сумасшедшее господство — господство над всем мирозданием. Прославленные историей великие честолюбцы Юлии Цезари, Александры Македонские, Наполеоны — жалкие щенки по сравнению с этим необузданным узурпатором, яростно сожалеющим о своем бессилии.

Шаблин протянул руку.

— До завтра... Завтра в десять утра быть у меня — ознакомлю с планом подготовки к космическому путешествию вашей души.

Бартенев почтительно простился и вышел.

С высокого, крупитчато искрящегося сахарной белизной под ногами, институтского подъезда Александр

окинул взглядом плоский парк. Институт молодой, деревья, главным образом дубки, посадили недавно, все они не толще руки у запястья. Вокруг института было немного неуютно, как в необжитой квартире. В центре пестрела громадная клумба...

За парком размашисто виляла река, на темной воде крошечные, яркие, как осыпавшиеся лепестки цветов, skutера. Сочная зелень вековых уютных рощиц, солнечного цвета крыши зданий и в синем небе напористо летящий энтомоптер — водяным радужным кольцом окружили прозрачные крылья кургузое тельце этого самолета-насекомого.

Завтра начнется подготовка к полету в немыслимые занебесные тартарары. И странно, что не нужно прощаться с этой обжитой Землей.

После того, как Бартенев ушел, Шаблин включил телеэкран на столе.

Пожилая женщина с царственной осанкой, носящая белый халат, отвернулась от аппаратуры, загромождавшей стол.

— Сейчас беседовал с Бартевым, — заговорил Шаблин. — Приметил: он при разговоре постоянно хватается за висок. Что это? Быть может, некоторая недостаточность кровеносного питания?

Женщина спокойно покачала головой.

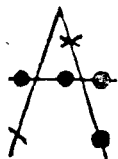
— Вы, Игорь Владимирович, если чем-нибудь озадачены, извините, лезете чесать затылок.

Шаблин рассмеялся.

— Осадили...

— Значит, он? — спросила женщина.

— Он. Известите об этом официально всех, кого нужно.



ЛЕКСАНДРА Бартеньева готовили к «полету».

Нет, его не упрятывали в барокамеру, не закупоривали на недели и месяцы в тесные одиночки от мирского шума и суеты, не бросали какой-нибудь сверхмеханизированной катапульты...

В нескольких минутах ходьбы от института стоял коттеджик, на застекленные стены его напирала темная зелень густого сада — уютное гнездышко, мечта молодоженов. В нем лампы сами услужливо вспыхивали, ступеньки крыльца заботливо слизывали пыль с подметок, вешалки с поклоном подавали пальто и шляпу, и каждое утро сладчайший голос автомата «здравоохрана» произносил:

— Доброе утро, Александр Николаевич! Вы спали хорошо, пульс был нормальный, дыхание ровное и глубокое, деятельность мозга не превышала допущенного уровня. Приступайте к утренней зарядке...

Казалось, вырази Александр желание, чтоб ему почесывали перед сном пятки, — немедленно бы появился автомат и исполнил все с машинным прилежанием.

Одна комната обставлена на сугубо деловой лад: кресло, стол, большой телеэкран, вмонтированный в стену, матовая доска густого зеленого цвета с набором мелков — почти не усовершенствованная правнучка классных досок, на которых когда-то дети, изнемогая от напряжения, писали: «Маша варит кашу».

Ровно в девять Александр сел за стол перед телеэкраном и ждал, когда его посетит какой-нибудь избранный «дух». И «дух» появлялся, телеэкран

мягко вспыхивал. Плотный человек с властным взглядом неумолимого подвижника, для которого ничего не существует, кроме его науки, говорил сочным баритоном:

— Здравствуйте, молодой человек. Приступим... Тема сегодняшней лекции — «Абстрактный спектральный анализ». Попрошу вас подойти к доске и изобразить мне уравнение Шредингера...

И лекция начиналась.

Каждое утро — перед телеэкраном.

Рыхлая старушка, отдаленно напоминавшая по внешности гоголевскую Коробочку, великая бабушка мировой океанологии, исползавшая за свою долгую жизнь дно всех морей и океанов, сообщила о последних исследованиях морской флоры и фауны.

Профессор Эринато Марчарелли, неистовствуя на экране, потрясая кулаками, хватаясь в отчаянии за черную, встрепанную, как только что вылупившийся, не успевший обсохнуть вороненок, голову, прочитал курс Всемирной истории, бурно переживая при этом каждый социальный катаклизм.

Выдающийся архитектор Паниах, сухонький человечек, застегнутый на все пуговицы, с бронзовым лицом и кротким взглядом смолисто-черных глаз, разбросавший по свету сотни городов, обрисовал кратко состояние современного зодчества.

Математики и физики, конструкторы и астрономы, химики и биологи, энергетика и экономисты, литераторы и художники — что ни имя, то громкая слава современного человечества — проходили чередой перед экраном.

К концу каждого курса лекций Александр Бартенев беседовал со своими преподавателями как специалист.

Ничего не разрешалось записывать, все нужно только запоминать. Лик планеты в прошлом и настоящем, лик планеты и дух человечества должен был вместиться под череп.

Однажды экран не вспыхнул, а вошел Шаблин.

— Прошу прощения, что запоздал на минуту. Итак, начнем...

Он тоже был в числе лекторов.

Его лекции частенько переходили в свободные беседы. И тут Шаблин начинал говорить не о победах, а о досадном бессилии науки, которая для ученого всегда трагедия.

— Мы можем только копировать мозг. Слепо! Всякие попытки усовершенствовать нарушали неуловимую для нас гармонию. Получалась каша из нервных клеток. Мы не боги, а жалкие плагиаторы матери-природы.

— Но если умеем повторять, значит, духовный мир каких-то людей можно сделать бессмертным? — возражал Александр.

— Увы! Для того, чтобы вырастить копию мозга, необходимо как основу использовать несформировавшийся мозг человеческого зародыша. То есть, чтоб дать вторую жизнь кому-то, пришлось бы перебежать дорогу другому человеку.

— Повторить, скажем, такой ум, как ум Эйнштейна, — стоит пойти на это.

— Вся беда, что Эйнштейны неповторимы.

— Как так?

— При всяком подражании неизбежны малейшие потери и отклонения. Передать привычки, характер, наконец, память мы можем, даже с речательством. А гениальность, таинственную, почти неуловимую категорию мышления, — нет! Никакой гарантии, что

получится второй Эйнштейн, с его привычками, его характером, но не гениальный, а просто заурядно способный. Словом, на бессмертие в широком масштабе не рассчитывайте. Человечество будет прибегать к копированию мозга только в таких исключительных случаях, как забрасывание посла в недоступные миры.

— Есть ли надежда, что коллегиане раньше пришлют нам своего посла? — спросил Александр.

— Навряд ли. Некоторые данные дают право предполагать, что они отстают от нас в этом вопросе... Хотя возможно всякое... Не будем обольщать себя праздной надеждой. До них еще не дошло наше сообщение, что посылаем душу землянина. Дойдет лет через тридцать, а там они будут готовиться к встрече... Словом, трезво рассуждая, я не жду их посла раньше, чем ваш дух вернется обратно.

— Через семьдесят лет?

— Возможно и позже. Подводит нерасторопная природа-матушка.

— Они отстают, вы сказали?

— По свежим данным. А их свежесть — сорокалетней давности.

— Не получится ли так, что бросим душу во Вселенную, как в мусорную корзинку?

— Вас от этого не убудет, дружок.

— Если б успех зависел от того, убудет меня или нет!..

— Оживет ваша душа, гарантирую.

— Даже гарантия?

— Да.

— Докажите.

— Душа-то ваша вырастет перед ними не сейчас. Через тридцать шесть лет прилетит. А это срок нема-

лый, их наука шагнет вперед. Да еще наши данные, собственно, подсказывающие принцип материализации...

— Положим...

— Вы хотите сказать, что и это еще не гарантия?.. Что ж, допустим, и через тридцать шесть лет они окажутся невеждами. Маловероятно, но допустим. Однако данные-то будут записаны и наверняка сохранены как ценность. Пройдет еще лет десять, тридцать, сто — и рано или поздно секрет откроют, ваша душа обретет плоть. Правда, она будет старомодна немного, но даже при самых благоприятных условиях свеженькой ее не доставишь. Тридцать шесть лет путешествия — за это время мы не будем сидеть сиднем, ускачем вперед, переданные нами сведения, увы, покроются пылью.

Маленький коттеджик, упрятанный в густой зелени; стал самым маленьким университетом из всех, какие когда-либо существовали на Земле. Слушательский состав — один человек. Ни в одном из университетов мира не читало лекций столько светил. Ни в одном из университетов не было такой способной аудитории.

После рабочего дня к коттеджу подплывал лимузин. В нем сидели жизнерадостные, мускулистые ребята, они же — наблюдающие за Александром врачи. Тащили на велосипедные прогулки, на греблю. По воскресеньям компанией улетали к морю — погулять на яхтах. Распорядок прежде всего. Перегруженный мозг должен отдыхать. Иначе автомат «здравоохрана» своим сладеньким голосом подымет тревогу.

ВЕЧЕРОМ шел с реки. После двухчасовой гребли он выкупался, холодная вода прогнала усталость.

Шагал по узкой тропинке, немного ослабленный, счастливый тем тихим, бессмысленным, почти биологическим счастьем, у которого нет иной причины: ты живешь, и тебе в эту минуту ничего больше не надо от жизни.

А вечер был темный — сказывалась близость осени, — и горели крупные косматые звезды. Среди них, нарядных, тянет свой долгий звездный век звезда Лямбда, галактическая старушка, еле видимая отсюда из-за своей ничтожности.

И не хотелось думать о неприветливой Вселенной с затерянными в холодной пустоте сгустками бушующей плазмы, жидкими разливами туманностей, снующими планетами, пригретыми чужими солнцами. Чего тебе не хватает на Земле, человек? К чему вся Вселенная, когда лучшего рая, чем твоя собственная планета, ты не найдешь?

И пугливо трогал ветерок лицо, и с обескураженным шепотом падал в кроне берез одинокий листнеудачник, не дождавшийся листопада. И было немного печально и хорошо на душе, и как ни хорошо, а чего-то не хватало.

Тропинка подымалась по склону холма. Это был суровый и голый холм. Пыльный, угрюмый старик среди цветущих садов, зеленых роц и тучных полей — место, отданное современниками прошлому.

Почти каждый вечер проходил Александр по этому холму. На его вершине, осевший в землю, торчком стоит изъеденный временем тупой каменный обелиск.

На нем выбита пятиконечная звезда и старинным шрифтом вырублены три фамилии:

*Рядовой ОСИПОВ П. Н.
Сержант КУНИЦЫН А. А.
Младший лейтенант СУКНОВ Г. Я.*

Ниже надпись:

*Пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину
1. XII. 1941 года.*

И Александр представил себе то далекое время: была зима, и в мерзлой земле темнолицые, обмороженные мужчины вырубали своими примитивными инструментами могилы, закидывали окоченевшие тела каких-то Осипова, Куницына, Сукнова, убитых другими людьми. Жутко и почему-то без причины стало стыдно перед этими предками, закопанными в мерзлую землю. Стыдно за себя, не знающего, что такое голод и холод, что такое боль тела, развороченного грубым куском стали. Стыдно перед теми, о которых сказаны эти варварски гордые слова: «Пали смертью храбрых».

Он не спеша поднялся.

Сверху, от старинного камня, донесся голос.

Этот голос был чист и ясен, а слова тяжелы и жестки, как слова на старинном надгробии.

Женский голос в глухом месте, в навалившейся ночи читал:

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

Старинное стихотворение — стихийная, необузданная мощь, угловатая, все презиращающая гордыня, бес-

страшный вызов жестокого человека к жестокости. Старинное стихотворение — строчки, оставляющие незаживающие раны.

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, тяжкий плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Чистый, ясный и безжалостный голос.
Александр подошел...

Стиснутая ночью, невнятно белела узкая девичья фигурка. Александр сделал еще шаг вперед, и голос смолк.

В черном небе чиркнула падающая звезда. Они часто падают в это время. Тихо...

И девушка шарахнулась в сторону.

— Не бойтесь! Я не восставший из могилы.

Она остановилась.

— Кто здесь? — Голос придушен страхом, бледный голос.

— Человек, как и вы...

— Догадываюсь.

— Можно подойти? Не убежите?

— Попробуйте.

Он подошел.

Ночь смыла с ее лица все черты, темнели только глаза.

— А я вас знаю, — сказал Александр.

— И я вас...

Девочка-лаборантка. Это она пригласила его на первую беседу с Шаблиным.

— Откуда эти стихи?

— Из книг...

— Я их не знаю.

— Разве что-то знать — только ваша монополия?

— В таком месте — и такие стихи!

— В другом они так не звучат... Проводите меня, я боюсь.

И они пошли бок о бок. Хрустел песок под ногами, от ее тела, затянутого в тонкое платье, тянуло теплом, и в темноте был виден ее профиль, загадочный, древний, библейский в эту минуту. Смутной влагой блестели большие, выпуклые глаза.

А над головами лениво жила Вселенная, поеживались звезды, вколоченные в знакомые созвездия. И снова упала звезда — острый, более сильный росчерк заблудившегося метеорита. В ее глазах мелькнул колющий отсвет.

— Как сабля... — обронила она тихо.

— Что? — не понял он.

— Сверкнул, как сабля... «И ханской сабли сталь...» Какие сильные и страшные люди жили прежде! Мы теперь больше надеемся на свои сильные машины, и в нас самих сила умирает за ненужностью...

Ее слова были не новы, они гуляли по свету как сомнительное утверждение: «Человек становится тепличным».

Такие утверждения когда-то питали человеконенавистнические теории: сила воспитывается в столкновениях; с прекращением войн у общества отнят такой решающий стимул развития, как внутривидовая борьба... А общество развивалось, преобразовывалась планета, заселялись океаны, шло освоение солнечной системы, жизнь опрокидывала теории, подчеркивала эти слова.

Но сейчас Александр не возражал: ночь, девушка, дух предков — какие тут теории! И самому хотелось

бы стать грубым, «ломать коням тяжелые крестцы и умирять рабынь строптивых».

— А они умели не только пугать, — произнесла она. — Они умели быть нежными... Не помните?..

И она тихо-тихо стала читать:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ —
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту...

Как налетевший дождь, прошумел с глухой тревогой тихий голос и оборвался.

Нет, он не помнил... Память его, прославленная по всему миру память, много прекрасного не увезет с Земли, много такого, чем можно гордиться. Богаты минувшие века, всего нехватишь.

— А как ваше имя? — спросил он.

— Галя...

И тем же голосом под дождевой шепот:

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут...

Они стали встречаться. Ей было семнадцать лет, год назад перешла из школы в институт, работала и училась, готовилась стать биологом, старая русская поэзия — просто увлечение.

А липовые рожицы осветились призрачно-лимонным светом, а дубки в институтском парке стояли в ржавом наряде, молоденькие, неокрепшие, но уже солидные, себе на уме, как мужички из сказок.

Над рекой был переброшен паутинный мост. Сверху видно было, как на черной воде корчится от усилий луна — холодное, жидкое золото, — корчится, рвется и не может сорваться. Прикована.

Он смотрел и думал, что человеческая мысль похожа на это лунное отражение. Неистовствует, рвется вперед, хотя бы во враждебные глубины космоса, где господствует один лишь неприветливый бог — Пустота, облаченный в нищенские лохмотья материи. Сорваться вперед, в неведомое будущее! И постоянно неоправданное недовольство настоящим, даже если это настоящее приветливо, как сама Земля, укутанная синим небом.

В яркие лунные ночи Лямбда Стрелы была почти не видна на небе.

В лунные ночи рядом с Галей он забывал о своей миссии.

Она читала стихи, а он сразу запоминал их. Если и декламировал, то повторял даже ее интонации.

В полночь они шли знакомой тропкой мимо могильника. Она клала луговые цветы к камню. И это она делала со строгим и значительным лицом, словно исполняла жертвоприношение. Все-таки она была чуточку по-девичьи сентиментальна.

Там, где начинается институтский парк, они прощались. Он целовал ее, на губах после этого оставался чистый, молочный привкус. Потом стоял и слушал ее легкие, пугливо глохнущие в ночи шаги. И охватывала грусть пополам с радостью: ушла, но завтра-то снова встретятся... И никуда он не улетит, не расстанется с ней...

Он спешил к ней, подпрыгивая от нетерпения на каждом шагу.

На мосту темнела одинокая фигура. Ждет! Уже! Александр рванулся и, вбегая на мост, замер. Стояла не она, кто-то другой.

Этот кто-то шевельнулся ему навстречу.

— Не правда ли, чудесная ночь?

Привалившись к шатким перильцам, стоял Шаблин.

Александр молчал.

— И луна, и звезды, и журчание воды... Вы, надеюсь, не откажете в любезности побыть со мной несколько минут?

— Да... Конечно...

— Луна, звезды, покой, дремота... Как говорили в старину: «Душа бога слышит...» Помолчим, повздыхаем... Вы что-то оглядываетесь? Вы кого-то ждете?

— Нет... Впрочем, да, жду.

— Напрасно.

— Что?

— Я сказал: напрасно.

— Что-нибудь случилось, Игорь Владимирович?

— Просто она не придет сегодня.

Александр молчал, уставившись в притаившиеся под бровями глаза профессора.

— Не придет. Ни сегодня и ни завтра...

— Что это значит?

Шаблин крепко взял его за локоть.

— Вам никогда не приходилось болеть странной болезнью — ностальгией?

— Что с ней случилось?

— С ней — ничего, а вот с другим человеком могут случиться неприятности.

— С каким человеком?

— С ним...

— С кем — «с ним»?

— С Александром Бартеневым номер два, который оживет на планете Коллега.

— Ну, знаете!..

— А вы все еще не принимаете его в расчет? Он для вас только лишь отвлеченный научный эксперимент?

— Считать его человеком?.. Мне? Сейчас?

— Себя-то вы считаете...

— Не могу представить.

— А все-таки представьте. Он будет таким, как вы, точно таким. С вашим умом и с вашей впечатлительностью. А теперь представьте себе, что вы ожидаете в чужом мире, среди непохожих на вас существ, по духу непохожих. Мало того, вы будете понимать, что никогда не встретите ни отца, ни мать, ни сестер, ни братьев. Ведь в то время, когда вы вернетесь обратно, все они будут лежать в могилах. Любовь, привязанности — все умрет. Забытый странник без родины. Вам это нравится? Вам не хочется за это попросить у него прощения?

— Да его же нет! Быть может, не будет совсем. Если и будет, то через сорок лет!

— Для вас — сорок. Для нас с вами. Для него — вчера.

— Но чем я мешаю, если встречаюсь?

— Очень сожалею, что я не успел помешать, узнал с опозданием. Не усугубляйте: чем дольше это будет продолжаться, тем страшнее. Оборвем сейчас!

— Стрaшнее?.. Не пойму.

— Лунные ночи, вздохи, нежные взгляды, маленькое божество и большая любовь. Он все это увезет с собой; сорок лет спустя он будет это помнить, как будто бы случилось вчера. И будут глодать мысли, что маленькое божество никогда не встретится, превратится в дряхлую старуху. Убийственные мысли для человека, напроць оторванного от родины... Перед тем,

как передать второму «Я» все свое, — влюбиться! Может, вы еще медовый месяц проведете?.. Давайте удесятерим впечатление земного счастья, память о котором он увезет с собой. Удесятерим, чтобы загибался от ностальгии, отчаивался от невозвратной потери, чувствовал себя несчастным. А нам нужен энергичный, полный сил посол, не растравленный хлюпик. Не скрою, беспокоюсь за эксперимент, но мне его и по-человечески жаль. Пожалейте и вы. Пожалейте, как самого себя.

— Что я должен сделать?

— Выбросить из головы милую девушку.

— Не могу!

— Должны смочь!

— Не волен в этом...

— Представьте, что вы сами летите. Сами!

— Я все понимаю.

— Не имеете права на такую роскошь сейчас.

— Понимаю... И все-таки не могу.

— Вы с ней не встретитесь.

— Как так?

— Ее здесь нет, не ищите. Сегодня утром по моему приказу улетела.

— Ссылка? Арест?

— Называйте, как хотите.

Александр молчал.

— Подумайте, взвесьте и постарайтесь не обижаться на меня... До свидания.

Шаблин кивнул головой, прямой, со вздернутыми плечами, стал спускаться к берегу.

Александр долго стоял, поглаживая пальцами висок.

Плясала луна на воде, прищептывала река, пресно пахло осокой, тронутой осенним тлением.

ЗИМА, весна, лето — снова липовые рощицы залиты пронзительно-лимонным светом, и снова снег, и, наконец, зацвел северный апельсин за окнами коттеджа.

Александр убрели голову. Когда гляделся в зеркало, казалось, что его макушка пускает солнечные зайчики.

Появился Шаблин не в обычной куртке, мятых брюках, — черный, торжественный костюм, начищенные ботинки, сам он замкнут и величав, словно юбиляр перед приемом высоких делегаций.

— Пошли, — скупно сказал он и озабоченно оглядел бритую голову Александра.

Умеренно большой зал, залитый с потолка мягким зеленоватым светом. В этом зале, как в аквариуме, бесшумно плавали люди в белых халатах. Шаблин среди них в своем черном костюме — мудрый ворон, такой же чужой и, казалось, такой же обреченный, как Александр.

Он подвел Александра к круглому столику, выбросил на его плечо сухонькую легкую руку, властно нажал.

— Садись. Сейчас будет все готово.

Люди бесшумно двигались, словно исполняли слаженный танец.

На столике перед Александром почему-то стояла рюмка.

Александр оглядывался.

— Я тебе рассказывал обо всем этом устройстве. — Шаблин сегодня впервые обращался к нему на «ты».

Александр кивнул бритой головой.

— Знаю.

Посреди комнаты, как трон, массивное кресло. Над самым креслом с потолка свисает предмет, похожий на хромированную чашу с раздутыми толстыми стенками.

Углубление в этой чаше специально подгонялось под череп Александра. Он сядет в кресло, чаша опустится на голову... Она — чувствительнейший экран, вернее, много тысяч тончайших экранов, один над другим, как слоеный пирог. Это своего рода объектив, способный проникать в глубь мозговых клеток.

А где-то за стенами зала ждет молекулярное запоминающее устройство. Чаша-объектив передает каждую клетку, каждую молекулу в клетке мозга Александра на этот аппарат, и он запоминает. Он станет электронной копией мозга, точнейшим фотографическим негативом, но негативом непроявленным.

И если б человек стал «проявлять» этот негатив, клетку за клеткой, то прошло бы не одно столетие, поколение сменялось бы поколением, пока кропотливый труд был бы закончен. Электронную копию мозга станут допрашивать счетные машины по строгому плану с машинной педантичностью и скоростью многих тысяч операций в секунду. Одни машины — подсчитывать, другие — обобщать: одинаковые клетки — под одну рубрику, изменения, исключения — на заметку... Компактные математические выводы опять же машинами шифруются особым кодом на пленку, которая поступит прямо на астрономические радиостанции.

Человек только даст толчок, а дальше все станет делаться без его вмешательства. Человек даже при желании ничего не сможет изменить, усовершенство-

вать, как фотограф, проявляющий фотоснимок, не в состоянии изменить сфотографированное изображение.

Все это Александр знал. Знал он и то, что само по себе «фотографирование» мозга в общем не сложная операция, она займет от силы минуту. Сложен процесс «проявления» и обработки.

— Мы готовы, — раздалось в стороне.

На пульте управления призывно мигал глазок.

Шаблин пододвинул к Александру рюмку.

— Выпейте.

— Что это?

— Ничего особого. Средство, довольно решительно возбуждающее нервную деятельность, особенно — коры головного мозга. Выпейте и почувствуете, как «очистит мозги».

Александр выплеснул содержимое рюмки в рот, сморщился — не амброзия.

— К креслу!

Он встал и уже через пять шагов, пока шел к креслу, почувствовал какую-то кристальную, праздничную ясность в голове, движения стали четкими, скупыми, легкими.

Стоявшие вокруг кресла люди, само кресло — белое в зелень, при зеленоватом освещении, — крупные контакты, провода, чаша, свисающая с потолка, словно рефлектор лампы над операционным столом — все замечалось с особенной остротой, все имело свой значительный, потайной смысл.

Его усадили, обнажили запястья, грудь, прикрепили контакты. Умелые, тренированные руки хозяйничали над его телом.

У пульта управления стоял мужчина, на зеленоватом-бледном лице — суровые брови. Он глядел присталь-

но на Александра, а рядом с ним на пульте продолжал призывно мигать глазок.

И Александр подумал, что эти брови, этот мигающий глазок — последнее, что увидит, что запомнит, что увезет с Земли его двойник.

— Есть! — раздалось над ухом.

На голову сверху плотно легла чаша, ее прикосновение было нежным и теплым, как материнская ладонь.

— Есть!

Из-под бровей, вскинутых, как птичьи крылья в полете, — пристальный взгляд.

И тут потух свет — полный мрак, полная тишина. Сердце слишком громко стучало в груди.

Что-то щелкнуло. В темноте вспыхнул глазок. Он не мигал, он горел в темноте, словно маленькая луна.

А вслед за этим по комнате разлился свет. Умиротворяющий, зеленоватый, окрашивающий лица людей в бледный, потусторонний цвет. И все засуетились, громко заговорили, кто-то сказал над ухом:

— Поздравляю вас.

И снова умелые, быстрые руки забегали по телу, отстегивая контакты. Обнимавшая голову чаша поднялась, стало холодно голове, словно снял меховую шапку.

— Можете встать.

Александр легко поднялся, соскочил на пол. Человек с разметанными бровями подошел, зачем-то ласково взял под руку, повел к столику, за которым, сгорбившись, сидел Шаблин. У столика Александр почувствовал усталость, ноги стали ватными.

— Ничего. Реакция после возбуждения. Составчик-то крепенький! — Шаблин ткнул рукой в пустую рюмку, — Через полчаса все пройдет. Усадите его.

Александр опустился в кресло. В зеленоватом свете, заполнявшем комнату, поплыли оранжевые пятна, похожие на спокойный глазок — маленькую луну.

Минут через двадцать он очнулся.

— Кажется, я в состоянии встать.

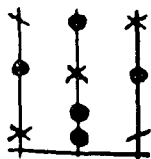
— Не спешите. Посидим еще, — сказал Шаблин. — А у меня вам подарок...

Тяжелая дверь мягко распахнулась. Солнце ослепило. Он шагнул вперед... Шагнул и замер. В светлом кремовом платье, оттенявшем смуглое в легком загара лицо, стояла Галя, прижимала к груди букет цветов.

Кругом были люди, собравшиеся со всех концов института посмотреть на того, чей мозг был только что сфотографирован для небывалого зазвездного путешествия. Посмотреть на того, кого из века в век станет вспоминать история.

И они не обнялись. Он лишь взял ее под руку и повел через просторный двор, мимо людей. Галя послушно шла, зарыв подбородок в цветы.

8



АБЛИН им сказал:

— Уезжайте, здесь не отдохнете: заедят корреспонденты. Я знаю один райский уголок, где можно спрятаться... Возьмите с собой акваланги.

Райский уголок...

В глуши Тихого океана, далеко в стороне от крошечной группы островов, когда-то торчали из воды рваные черные скалы — макушка давным-давно по-

тухшего вулкана. Быть может, в течение столетий не раз буря заносила к нему случайные корабли, люди видели этот крохотный островок и равнодушно забывали... Несколько тощих кустов, чудом выросших на камне, несколько десятков ящериц, тоже бог весть как попавших на этот жалкий осколок суши. До середины двадцатого века этот островок не появлялся на морских картах, да и после он долгое время значился как риф, который следует обходить стороной.

На нем не было пресной воды.

Но в конце концов люди и его прибрали к рукам, установили электростанцию и агрегат-опреснитель, прозрачные ручьи потекли по скалам, скалы затянулись зеленью, не какой попало, а избранной: цветы и полезные травы, кокосовые пальмы и хлебные деревья, декоративные кусты и фруктовые насаждения. Павлины спесиво носили хвосты, полыхающие всеми цветами радуги, доверчивые лани паслись в живописных камерных долинах — воистину райский уголок.

О его существовании знали немногие, только те, кто время от времени хотел уединения.

На острове коротала свой век чета стариков, сморщенных, темнолицых, курчавых. Их сыновья и дочери давно разлетелись по свету, один из них работал в Институте мозга. Старики командовали автоматами, заботились, чтоб стол для гостей был разнообразен, чтоб комнаты сверкали чистотой.

Оглушающая тишина, узкий мирок, тесные границы, но эти границы разрывались, когда на лицо натягивались маски аквалангов и море смыкалось над головой. Коралловые сады, пестрые рыбы и ртутно-тяжелый потолок воды, о который вдребезги разбивается потустороннее солнце. Можно уплыть на десятки километров, открывать страшные провалы, на дно ко-

торых вряд ли опускались смельчаки, вынимать из расщелин скал жестких лангустов, стрелять из примитивных ружей по тунцам, заигрывать с пощеньячьими жизнерадостными дельфинами.

Александр и Галя с утра до вечера пропадали в океане.

По утрам аппарат фотопочты выбрасывал на столлик только что принятые по радио газеты и воскресные журналы. Обложки этих журналов были украшены портретами Александра — бритая голова, широкие скулы, почему-то сонливо-отсутствующий взгляд. Известные поэты посвящали ему стихи, в только что выстроенных городах улицы назывались его именем. Командиры лайнеров из космоса присылали ему поздравительные радиogramмы. «Покоритель космоса номер один, звездный Гагарин», — не шути...

Александр был не прочь оставить тихий остров вместе со всем Тихим океаном, окунуться в шумиху. Но Галя читала газеты с неодобрением.

— Подвиг? Да?.. А ведь ты к этому подвигу не имеешь никакого отношения.

И тащила его в очередное подводное путешествие.

А где-то за тысячи километров отсюда шло другое путешествие по неоткрытому матерiku, площадь которого не превышала каких-нибудь двух с половиной квадратных метров. Шло путешествие по коре головного мозга Александра Бартеньева. Днями и ночами, ни на минуту не останавливаясь, лихорадочно работали счетно-электронные машины: каждая секунда — сотни тысяч операций. Кусочек за кусочком, клеточка за клеточкой открывался и исследовался необъятный материк.

Машины работали, люди терпеливо ждали результата.

Александр ждал весточки от Шаблина.

Однажды они плыли вдоль края пропасти. Словно окисленные, зеленые, корявые скалы стремительно скатывались во мрак, таинственный и угрюмый — океанская преисподняя. Над черной бездной летали рыбы стаи, иногда в глубине мелькало какое-то светлое пятно — и там была жизнь...

Они плыли дальше и дальше, а конца пропасти не видно. Казалось, в этом месте земля раскололась пополам до самого центра. Александр пытался остановить Гаю: вернемся, пора. Она отмахивалась.

Наконец, дно начало уходить вниз, унося вместе с собой окисленные скалы и страшную пропасть. Да и вода над головой стала темнеть: близок вечер. Плыть вперед бессмысленно.

А Галя плыла и плыла. Стусился мрак внизу... Он нагнал ее, обхватил ее талию, пошел вверх...

Перекатывались пологие волны. Красное, плоское — раскаленный блин — солнце садилось в них. И багровые отсветы облизывали темные волны, и все еще стояла перед глазами оставленная внизу мрачная пропасть, расколовшая планету пополам, и не видно острова. Волны, волны, перекидывавшие друг к другу холодное и багровое пламя уставшего солнца. И казалось, что попали в первобытный океан, в нем нет ни кусочка протоплазмы, из которой бы могла выпестоваться первая клетка, прапрабабушка всего живого. Они вдвоем. Они лицом к лицу с первобытным океаном и невозвратно тонущим солнцем.

Александр нажал кнопку на запястье, вскинул вверх руку. Аварийный аппаратик заработал, разбрасывая тревожные радиосигналы.

А через пятнадцать минут, скача с волны на волну, помигивая ослепительным маячком, подлетел спа-

сательный катерок. На нем не было людей, он самостоятельно нашел заблудившихся в океане.

Они взобрались на него, когда солнце спряталось, оставив на небе скупое закатное зарево.

В темноте на берегу их встретил старик.

— Далеко заплыли? — спросил он буднично.

— Черт те куда...

— Ничего, случается... Случается, заплывают и дальше. Никто не потерялся... Давно уже люди не теряются.

Старик, позевывая, отправился спать.

А Галя проводила его шалым, остановившимся взглядом и вдруг сказала:

— Уедем завтра отсюда.

— Почему? — удивился Александр.

— Улетим скорей... Не хочу.

Уже в комнате перед сном она призналась:

— Мне кажется, что вокруг нас жизнь понарошку.

— Как так? — не понял он.

— В прошлом, чтоб съесть кусок хлеба, человеку нужно было вырубать лес, корчевать пни. Самому, своими руками вырубать и корчевать. Мы даже не знаем, как это тяжело...

— Есть чему завидовать!

— Не знаем тяжести труда, но не знаем и радости отдыха после такой работы. Не знаем, как вкусен этот кусок черствого, грубого хлеба. Недоступно нам!.. А путешествия?.. Для того, чтобы добраться от Москвы до Дальнего Востока, нужно было стать героем: шагать сотни километров пешком, ночевать в снегу у костра, мерзнуть, голодать... От Москвы до Дальнего Востока... А теперь — путешествие, присниться не может, куда-то к дьяволу в зубы за тридцать шесть световых лет! И этот путешественник нежится

у моря, ловит лангустов, читает по утрам газеты о своем подвиге, спит в мягкой постели!

— Разве это плохо? Не пойму тебя.

— Мне хочется попадать в кораблекрушения, открывать необитаемые острова, где нет услужливых автоматов, тонуть и вышлывать, голодать и выживать, глядеть смерти в глаза...

— Брось институт, поступай в экспедицию, улетающую на какой-нибудь спутник Юпитера, — там тебе и смерть в глаза и уж такие необитаемые острова среди космоса, о каких твои предки и помыслить не могли. Настолько необитаемы, что не встретишь простейшей бактерии.

— Смерть в глаза... А спят-то они все равно в мягких постелях, в комфортабельных каютах, а на необитаемые острова привозят механических лакеев; если и наступает их смерть, то борются с нею не они сами, собственными руками, а их машины... И умирают они большей частью от какого-то незримого облучения, не с пистолетом в руках, а на больничной койке от неудачной пересадки костного мозга.

— Странно, почему-то во все времена люди тянулись к романтике вчерашнего дня. Древние греки в самые счастливые для себя годы боготворили старину, называли ее золотым, безвозвратно ушедшим веком. Во время трансокеанских кораблей и пассажирских турбовинтовых самолетов пускались в плавание на первобытных плотках или же строили каравеллы Колумба, чтоб на них подплыть под сень небоскребов. Очнись, Галя! Что может быть романтичнее этой минуты? Я раздвоился, мне подарены две жизни. Одна покойная, другая невероятная — сплошное приключение. Где будни, а где героическая романтика — попробуй разберись, все смешалось! Плакать о том, что, увы,

миновали чудеса прошлого, когда этих чудес куда больше приготовлено для нас в будущем. Плакать о прошлогоднем снеге!

— А все-таки мне жаль трудной молодости человечества, — упрямо повторила Галя.

— А мне жаль, что не смогу прожить еще тысячу лет.

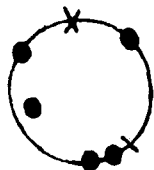
Утром маленький энтомоптер, самолет-насекомое, снял их с острова.

В ближайшем аэропорту они пересели на межконтинентальный лайнер. Пассажиры уже в полете узнали по портретам Александра Бартеньева, оглядывались, кто посмелее, подходили, выражали восхищение, трясли руку. Александру же было совестно. Возражения Гали он считал минутной причудой, но все-таки — как не признать! — подвиг достается ему слишком легко. И слишком много о нем шумят.

Во время полета возле его кресла раздался мягкий гудок радиотелефона. Вызывали с земли.

— Алло! Сынок! — послышался голос Шаблина. — Очень хорошо, что ты летишь. У нас уже все готово.

9



ПЕЧАТОК «души» выглядел внушительно. Шесть могучих грузовых машин подкатили к кибернетическим корпусам Института мозга. Их до отказа забили пластмассовыми коробками с лентами. Каждая из этих коробок была строго

пронумерована.

Шесть машин, шесть сухопутных кораблей — они могли бы за один рейс увезти разобранное по блокам любое здание института. Но сейчас везли только зако-

дированный мозг, тот мозг, который носит под черепом, не ощущая его тяжести, Александр Бартеньев.

Машины мчались к аэропорту. Следом за ними скользил лимузин. В нем сидели Шаблин и Александр.

Четыре транспортных самолета ждали необычный груз. Они должны взять курс в разные концы земного шара, к четырем самым мощным передаточным астрономическим радиостанциям.

Шаблин решил лететь вместе с грузом на ту радиостанцию, которая первой начнет передавать необычную информацию к далекой звезде Лямбда Стрелы.

Высокие горы прижали к морю небольшой южный город — белые дома захлебнулись в зелени. У моря пляж, как цветник, пестреющий яркими тентами.

Горы наверху лысые, кое-где дыбятся старчески сморщенное чело отвесных скал. В одном месте скала поставлена на попá, издавна она носит название «Перст дьявола». Снизу, с улиц уютного курортного городка, с пляжа эта скала действительно напоминает палец, с укоризной поднятый в небо. На самом деле палец высотой в добрых восемьсот метров. А несколько лет назад на нем расцвел серебристо-розовый цветок, его сетчатая тень покрывает не только весь палец, но и часть горы.

Жители города зовут его «Мальвочка», при виде вздыбленных гор нельзя к нему относиться иначе, как панибратски, снисходительно. Только словно невзначай оброненный домик у подножия цветка, робкое белое вкрапление среди камня, заставляет задумываться о размерах «Мальвочки». В ее розетке мог бы поместиться стадион на сто тысяч зрителей.

Это одна из четырех радиостанций, а сам цветок — зеркало гигантского радиотелескопа, способного забрасывать сигналы в самое сердце Галактики.

Начинался вечер, город внизу тонул уже в сумерках, там кое-где зажигались редкие огни, а здесь скалы запекались в последних лучах солнца.

Над головой, загромаждая почти все небо, висело сплетение легких балок и перетяжек, чудовищный ажурный хаос — так выглядела вблизи «Мальвочка». Она была повернута к горизонту, ждала появления не приметной звездочки, одной из тысяч различных звезд — Лямбды Стрелы.

Старший по станции, смуглый, жгуче-черный человек, с горбоносым острым профилем и необузданным темпераментом южанина, хлопая себя по ляжкам и бокам, повел Шаблина и Александра к лифту.

— Все готово! Все готово! Прошлой ночью послали сигналы: начнем передачу через двадцать часов. Осталось десять минут. Ах, великий день! Великий день!

В круглом зале, похожем на диспетчерский пункт электростанции средней руки, старший не выдержали, как спринтер, помчался по кругу, обнюхивая на ходу приборы.

— Все в порядке! Ах, все в порядке!

Ленты вставлены в аппаратуру, механизмы настроены на задание, проверять нечего, но кипучая натура старшего жаждала деятельности.

Неожиданно он споткнулся на бегу, застыл с трагическим лицом.

— Три минуты! Всего три минуты осталось!

Шаблин спокойно подошел к круглому, как выпуклый иллюминатор батискафа, окошечку. За толстым стеклом тянулась зеленая, дышащая полоска.

— Начали! — возопил старший.

Зеленая полоска подпрыгнула, заплясала. Заплясывал на месте старший. Поеживаясь, с мучениче-

ским выражением черных глаз он зашептал Александру:

— Позывные. Понимаешь?.. «Коллега!», «Коллега!» — вот что передаем...

Шаблин взглянул на часы, бросил значительно:

— Две секунды!

— Ха! Каково? За орбиту Луны перескочили, — подпрыгнул старший.

В распахнутых глазах хозяина станции разлитые зрачки, в них восторженный ужас.

— С Земли подымает голову змей! Понимаешь? — Срывающийся от волнения шепот. — Великий змей! Он будет расти целый месяц. Целый месяц со скоростью трехсот тысяч километров в секунду. Каково? И этот змей — ваш мозг. Ах, черт возьми! Ваш мозг!..

Минутное молчание. Плясала за круглым толстым стеклом голубовато-зеленая нить, окоченевшие стрелки приборов склонились вправо. Вокруг стояла тишина, всепобеждающая, величественная, гордая тишина, какая бывает только среди гор, вдали от людской суеты. И не верилось, что над их головами плещет в небо обильная река радиоволн — здесь ее исток, здесь берет она свое начало в черную бесконечность.

Старший по станции не выдержал тишины:

— Сейчас сигналы: «Чрезвычайно важно! Чрезвычайно важно!» Через тридцать шесть лет там, на Коллеге, вздрогнут от них. Ах, великая минута, дорогой мой!

— Две минуты пятьдесят секунд! — сообщил Шаблин.

— Марс! Наши позывные проскочили орбиту Марса! Понимаешь?.. Но не-ет, не скоро они еще выберутся за солнечную систему. Не скоро! Мы за это время, во всяком случае, успеем, не торопясь, распить бутылочку доброго вина...

Людам нечего было делать, автоматы сами передавали текст с запущенной ленты. Их работа надежнее, чем если бы за такое дело взялся этот импульсивный человек.

И потому Шаблин, отстранившись от приборов, сказал:

— Бутылочку доброго вина?.. Дело. Обмоем.

— А какое вино! А? Какое вино!.. Я вам не подсуну имитацию старости. К черту чудеса химии! Настоящее старое вино!.. Его, быть может, закопали мои прелки, когда полетел Юрий Гагарин. А?..

— Ну уж...

— Хорошо, не Гагарин. Пусть нет. Когда первый человек ступил на Луну, устраивает?.. Опять не верите?.. Ну, хорошо, немного позднее, но только немного. Головой ручаюсь.

Они спустились вниз.

Вино было действительно очень хорошее, впрочем, Александр не особенно разбирался в старых винах.

Через шесть часов первые радиосигналы достигли орбиты Плутона, последней планеты в солнечной системе.

Примерно в это же время «Мальвочка» перестала посылать сигналы. Эстафету перехватила вторая радиостанция, находящаяся в Атлантике. Для нее возшла на небосклоне звезда Лямбда Стрелы.

Через шесть часов возьмется за передачу третья станция, потом четвертая, снова придет очередь сигнализировать «Мальвочке»...

Не прерываясь ни днем, ни ночью, эта передача будет длиться месяц с лишним. Секунда за секундой станет расти от Земли в космос великан, сотканный из радиоволн.

Уже его голова за пределами солнечной системы, а тело еще не родилось, хвост появится через месяц. А там короткая передышка — и снова повторение от начала до конца. Для контроля, для гарантии, чтоб ничего не было упущено.

И еще одна контрольная передача... Только тогда смолкнут радиостанции.

Обстоятельно, не спеша будет отрываться двойник «души» Александра Бартеньева от Земли, которую в веках называли брэнной. И этот двойник человеческой души окажется таким же необъятным и величественным, как и все космические явления.

Шаблин в этот день решил отдохнуть. Он и Александр купались в море, жарились на пляже, толкались по городу, обедали в курортных столовых, не спешили вылететь обратно.

Вечером в углу парка им удалось занять столик. Столик-автомат, как скатерть-самобранка, угощал их освежительными напитками, местный городской оркестр любителей — танцевальной музыкой, а море, мягко шумящее внизу под дамбой, — прохладным ветерком.

— Что еще надо в жизни? — Шаблин сидел размякший, довольный, в сорочке с расстегнутым воротом; узкое лицо, тронутое за день загаром, разглажено. — Что еще надо? А?

— Быть может, музыку получше? — подсказал Александр.

— Только не это! Живо поставят какую-нибудь ультрарадиолу. А ты погляди, как стараются! Одно удовольствие. Вот та девочка со скрипкой — носик в поту. А их шеф!.. Зачес под Бетховена, а руки длин-

ные, деревянные, никак не сладит с ними. Прекрасен род людской в своей наивной самоуверенности повторить великое.

В другом месте на них давно бы уже обратили внимание. В другом месте, но не в этом курортном городе, где, как в солидном аэропорту, люди меняются каждый день, каждый час, прибывают и улечиваются, внезапно возникают и, не успев проявить характера, растворяются в небе. В таких текучих муравейниках притупляется привычка присматриваться друг к другу.

Убивают время два субъекта — молодой и пожилой, благодушный дядюшка в непрезентабельной мятой рубашке и почтительный племянник с франтовато короткой прической а-ля звездный космонавт — мир им в их скромном уединении.

За соседним столиком тесная компания, не слушающая трудолюбивую музыку сборного оркестра любителей, шумно спорит. И, конечно, спор идет о «душе» Александра Бартеньева, которая сейчас отправляется в путь к планете Коллега. И, конечно, среди других раздается решительный ораторский глас, отстаивающий свою, сугубо «оригинальную» точку зрения.

— Для чего живет человек? Черт возьми! Нельзя же из века в век увиливать от этого саднящего душу вопроса. Для чего?! Не украшайте идеалистическими коленцами, и тогда ответ прост: живет, чтоб жить, чтобы существовать! Только для этого, никакой другой сверхвысокой цели нет, выдумки! А для того, чтобы жить безбедно, по возможности счастливо, вовсе не надо рваться куда-то в преисподнюю, к Лямбдам, Дельтам, Альфам, Вегам. Наоборот, нужно все силы бросить на устройство того насиженного места, где ты живешь. Еще не все довольны жизнью на планете, еще

солнечная система не до конца обжита, а, поди ж ты, тянет на задворки созвездия Стрелы... Вынесем оттуда новые знания... Да на черта новые, когда старых, дедовских истин пока не реализовали!

Говорил крепкий парень с упрямо посаженной на широкие плечи крупной головой. Говорил напористо, с той силой убежденного в святой правоте фанатика, с какой, наверное, старообрядческие подвижники древней Руси посылали в огонь верующих. И физиономия у парня не тупая и ожесточенная — открытое, грубоватое лицо человека, невольно подкупающее своей искренностью.

— Как он вам нравится? — кивнул Александр на оратора.

— Неплох, — ответил Шаблин. — Во всяком случае, свои доморощенные мысли нахально пролает любому в лицо. Хотел бы я схватиться с таким на кулачки.

— Этот из безудержных утилитаристов, а они, имейте в виду, упрямы, считают себя солью земли.

— Были ими, — подбросил Шаблин.

— Когда?

— В каменном или бронзовом веке.

— Почему именно тогда? — удивился Александр.

— Не настаиваю на точной датировке. Наука еще не указала на веку, по которой можно было бы определить, где кончается их царствование.

— А кончилось ли? Не будет ли оно продолжаться под разными названиями до скончания веков?

— Наши космические корабли рвутся к планете Плутон не за пряностями, не за золотом, как в свое время рвались каравеллы Колумба к Америке. Узнать, прощупать руками, что это за таинственная планета. Узнать — вот что важно, а уж приспособим ли мы ее

под что-либо, там видно будет. Такие утилитаристы не царствуют, а влачат сейчас жалкое существование.

— А все-таки рассчитываем приспособить, все-таки в глубине души надеемся — авось, пригодится даже Плутон.

— Конечно, и галактики в созвездии Лебедя могут многое подарить практике. Еще в старину говорили: «Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Но изучаем мы не только из практического расчета. В нас живет потребность познать новое. Потребность как голод, как сон, без нее нет человека. Когда люди насытятся знаниями и скажут: «Хватит!» — считай — смерть. Цель жизни, смысл ее — познай непознанное! Вот лозунг рода человеческого. Этому юному трибуну невдомек, что его утилитаризм — атавистическая отрыжка, наследство животных, самых законченных утилитаристов.

А юный трибун за соседним столиком потягивал спокойненько напиток, забыв, видно, о своем приговоре тем, кто неразумно рвется от Земли к далеким звездам.

Александр молчал, а Шаблин снова расслабленно заулыбался.

— Славный вечер... Как, однако, хорошо побездельничать!

Сипло вздыхало море внизу под дамбой.

Дирижер оркестра с шевелюрой Бетховена, с горбатым носом ученого попугая выудил из кучи своих музыкантов хрупкую девицу с безучастным лицом.

— Дорогие друзья! — внушительно заговорила бетховенская шевелюра. — В честь исторического события — посылки человеческого интеллекта к звезде Лямбда Стрелы — наш коллектив подготовил новую песню...

— Скромничает! Наш коллектив... Сам состряпал... — ухмыльнулся Шаблин.

— Исполнит эту песню солистка нашего ансамбля Нонна Парк!

Дирижер повернулся спиной к обществу, вознес длинные руки.

Рекламированная солистка с прежней фарфоровой безучастностью, округлив глаза куда-то, в затканый ночью морской простор, дождалась первой, вьедливо вкрадчивой ноты из оркестра и запела тоненьким-тоненьким голоском:

Твоя душа, душа-а слетела
С Земли, идущей на вираж...

Александр засмеялся. Шаблин вдруг помрачнел:

— Что смеешься?..

Помолчал вслушиваясь, обронил тихо:

— Это страшно, а не смешно.

Резко поднялся:

— Пошли отсюда.

Светлей, светлей
Чем луч от Веги-и,
Ты чертишь путь
В кромешной мгле...

Тоненький-тоненький, наивно бессмысленный голосок...

Они вышли из парка.

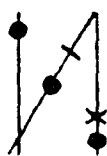
— Тут уж на кулачки не схватишься, — заворчал Шаблин, морщась. — Глупость, как удушливый газ, ударом не отбросишь, на лопатки логикой не положишь. Ничего нет страшнее человеческой пошлости!

Александр, посмеиваясь про себя, спросил наивно:

— Когда-то вы, Игорь Владимирович, мне сказали: нет ничего страшнее пространства. Чему верить?

— Здесь тоже пространство. Между современностью и этим маэстро с львиной гривой — расстояние по крайней мере в пятьсот лет, не световых, обычных... Им уже не догнать наш век, а живут рядом — при-
скорбный парадокс, несусветная путаница.

10



СЧЕЗЛИ с обложек журналов портреты Александра Бартеньева. Его физиономия с глазами, спрятанными под лоб, с широким, несколько мясистым носом и плоскими скулами сменилась сначала ресницами и жемчужными зубками вырвавшейся на вершину славы киноактрисы, а затем нервным профилем драматического тенора.

Он с Галей поселился в том же коттеджике, в каком тренировал свою память к «полету». В комнате для занятий была устроена гостиная; вместо рабочего стола появился круглый стол, за которым по вечерам собирались гости, среди них — Шаблин. Роскошный телеэкран, откуда светила наука читали Александру лекции, остался на прежнем месте; теперь на нем появлялись лишь кинофильмы, театральные постановки, концерты — все то, что входило в программу обычных телепередач.

Институт мозга интересовался проблемой телепатии. Испокон веков легенды и мистика окутывали все, что было связано с этим словом. Уехавшая из дому дочь, неожиданно заболев, ложилась на операционный стол, а мать за много километров от нее испытывала непонятные для врачей приступы боли. Умиравший перед тем, как испустить последний вздох, слышал негромкий звон серебряной чайной ложки о

стакан, а в ту же секунду этот же звон около себя слышит его приятель, находящийся на другом конце города. Все это граничило с чудесами, казалось сверхъестественным и, разумеется, сдабривалось изрядной долей низкопробного шарлатанства. Только в первой половине двадцатого века наука робко попыталась искать объяснения. Для начала была выдвинута гипотеза об излучении радиоволн мозгом.

В 1958 году американская атомная подводная лодка «Наутилус» взяла на свой борт некоего лейтенанта Джонса и отчалила от берега на две тысячи километров. С берега Джонсу делали «внушения», он дважды в день рисовал одну из пяти «загаданных» фигур. Итог — 70 процентов «угадывания». Обычные электромагнитные волны не смогли бы проникнуть сквозь толщу океанской воды и железный корпус лодки. Передача была, но как, через что, каким путем?.. В конце концов ученых стала волновать не столько сама передача, сколько те таинственные волны биологического происхождения, которые не удавалось уловить никакой аппаратурой.

Люди научились искусственно синтезировать белки, создавать в лабораториях живые ткани, вплоть до самых сложных — тканей коры головного мозга, а секрет странных волн оставался нераскрытым. Торжественно шествующая вперед наука здесь — увы! — уткнулась в тупик, застряла на столетия.

Давно была выдвинута гипотеза, что эта необычная способность досталась человеку по наследству от животных, даже больше того — от насекомых. Шаблин придерживался того же взгляда. Он предложил Александру Бартеньеву проверить эту гипотезу.

— Прежде всего, — заявил Шаблин, — выкинь из головы какую-либо романтику. И уж не рассчитывай,

что быстро раскусишь орешек. Сотни ученых, и не такие, как ты, зубы сломали. Наскоком не возьмешь, нужно ползком. Долгий и неблагодарный труд. Неблагодарный потому, что никто не может гарантировать, увенчается ли он успехом. Никто!

Александр, поразмышляв, согласился взять эту работу на себя.

В одном из закоулков институтского городка был устроен обширный террариум, куда свезли безобидных ужей и ядовитых кобр, щитомордников, эф, гремучих змей, семиметровых анаконд. Если способность испускать особые волны на самом деле досталась человеку от низших животных, то эта таинственная способность должна проявиться на змеях, недаром же за некоторыми из них с давних времен держалась прочная слава — гипнотизируют свои жертвы.

Человек, чье имя было связано с прославленным космическим «полетом», стал возиться с самыми земными из земных тварей.

Внешне жизнь шла размеренно и даже скучно. В восемь утра он уже шагал через институтский парк к своему террариуму, засиживался в лабораториях до поздна, вечерами дома изводил Галю разговорами о «ганглиозных клетках», «колбочках Краузе», о новом проявлении вторичной биосвязи у алмазной змеи.

Галя работала в одной из его лабораторий — готовила препараты, занималась классификацией, слушала рассуждения Александра и с нетерпением ждала, что вот-вот они ухватят кончик путевой нити, который приведет их к неразгаданной тайне.

Но шли дни, один на другой похожие: застекленный обширный террариум, разделенный на отсеки, змеи, змеи — то оставленные под наблюдением в условиях, близких к естественным, то помещаемые в силь-

ные электромагнитные поля; змеи, змеи — живые и мертвые, препарированные и хватающие кроликов.

И не было видно конца работы, и неизвестно — закончится ли она успехом.

Весной вокруг их дома — снежная метель. Нет, не неистовствующая, а застывшая метель из сонного царства старой сказки. Белые хлопья под теплым солнцем, белые хлопья, повисшие над влажной землей, мечтающие упасть на нее и не падающие. Весной вокруг их дома цвел сад, и, казалось, не было на свете более уютного места.

А под крышей уютного дома — неуютная вязкая тишина, и радостная кипень цветущих деревьев кажется насмешкой.

День похож на день, не рассчитывай, что какое-нибудь событие нарушит однообразное течение времени. Течение времени... Слова, ставшие шаблоном. И Галя постоянно задумывалась: а куда оно, ее время, течет? Где цель? Куда идут дни, недели, месяцы, годы, десятилетия? Надо просто жить. И нет страшнее несчастья, чем счастье в покое.

А рядом жил счастливый человек, не замечающий дней. Счастливый, значит, не понимающий ее, значит, чужой. И по вечерам Александра встречали на пороге серые в синеву глаза, устремленные внутрь себя. И Александр сникал, съеживался, сразу же начинал ощущать вязкую тишину, которая затопила дом от подвалов до крыши.

«Быть может, любила не меня, а ту половину, которая улетела с Земли?» — думал он иногда.

Этот год, который должен бы считаться медовым, наверно, был самым тяжелым в их жизни.

Родился сын, и кончилась тишина в доме.

Родился сын. Его назвали Игорем в честь Шаблина.

Шаблин, заглядывая в гости, носил на руках своего тезку, неумело восхищался им, как и всякий мужчина, который боится, чтоб его не упрекнули в сюсюканье.

— Ошибка: не ученый — певец растет. Какой голос! А? Бас!

У Шаблина было два взрослых сына, оба работали на космических научных станциях, от обоих приходилось жить в отрыве, а мог бы из Шаблина получиться хороший дедушка.

Как-то вечером Галя завела свою обычную песню:

— Мне жаль прошедшей молодости человечества. Завидую тем, кто жил на неистоптанной планете... По-своему прекрасное время, создающее мужественные натуры...

Шаблин внимательно слушал, Александр с любопытством ждал, что он ответит. Он один из выдающихся героев современности, влюбленный в свой век, еще больше влюбленный в будущее, ему ли на девический лад восхищаться романтикой прошлого!

К удивлению, Шаблин не стал спорить, лишь усмехнулся и сказал:

— Я тебе, красавица, подарю одну старинную вещь. Кто-то мне преподнес ее, не помню... Обязательно подарю.

На следующий день он принес небольшой сверток, протянул Гале:

— Вот, держи.

Галя развернула:

— Что это?

В ее руках был грубый кусок металла, какой-то примитивный сплав, перелитый в примитивную форму, — выщербленная полая ручка, короткий ствол с наростом на конце.

— Очень похоже по форме на пистолет, — сказал Александр. — Но не пистолет. В стволе даже нет отверстия.

— Правда, похоже... Я видела пистолеты в музее... — Галя с удивлением вертела в руках непонятную штуку.

— Пистолет, но не настоящий, — подсказал Шаблин.

— Не настоящий?.. Для чего же он?

— Какой-нибудь военный фетиш? — предположил Александр.

— Ладно, все равно не угадаете. Это детская игрушка. Когда-то очень распространенная... — Шаблин заглянул Гале в глаза, как он один мог заглядывать — в глубь глаз, на дно их.

И у Гали дрогнули губы.

— Детская?..

— Да, для мальчиков.

— Им разрешали играть в убийство?

— В войну. Мальчики играли в войну, а девочки нянчили кукол и пели им песни: вот вырастешь, сядешь на коня, возьмешь саблю в руки, убьешь врага, станешь героем...

— И никто не возмущался такими играми?

— Папы в свое время тоже играли в войну, пока не приходило время заняться ею всерьез. Романтика, начиная с младенчества.

Галя положила на стол перед Шаблиным исковерканный детский пистолет.

— Тебе, поклонница старины, почему-то не нравится мой подарок? — спросил Шаблин.

— Нет, не нравится.

— А я-то думал, ты сохранишь для своего сына.

— Возьмите обратно!

Галя подошла к кровати Игоря. Он гугукал, пуская пузыри.

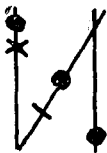
А где-то в межзвездной пустоте, растянувшись на целый световой месяц, мчались полки радиоволн, несли вперед законсервированную душу Александра Бартеньева, с недавних пор счастливого отца, будущего преуспевающего профессора.

С каждой секундой — триста тысяч километров; далеко позади семья планет, неторопливо плавающих вокруг Солнца... Далеко позади... А стройные полки радиоволн даже не прошли одной десятой пути, их путешествие только еще началось.

Когда оно кончится, сыну Александра Бартеньева, сейчас бессмысленно таращащему глаза на мир, исполнится тридцать четыре года, и, наверно, у него будет свой сын.

Полки радиоволн к звездам Лямбда Стрелы.. И стремительно текущая жизнь на маленькой планетке Земля...

11



ГОРЬ Бартеньев рос. У него была отцовская цепкая память. В четыре года он на лету, походя, схватывал стихи, которые читала мать:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке...

В двенадцать лет на конкурсе трудной задачи, устроенном местным клубом математиков, он занял первое место.

Увлекался астрономией и шахматами, рисованием и авиаспортом, геометрией и художественной фотографией. Мать беспокоилась: «Недостаточно целеустрем-

лен». Отец при этом думал: «Весь в тебя». Думал, но не говорил вслух: побаивался отповеди. А Шаблин успокаивал: «Растет нормальный человек».

Невысокий, узкоплечий, девичья хрупкость в фигуре уживалась с мальчишеской пружинистой гибкостью; лицо тоже слишком нежное для мальчишки, на щеках под бархатистой смуглотой тлеет ровный, здоровый румянец; глаза матери — большие, настороженные, постоянно чего-то ждущие. Эти глаза часто замирали на каком-нибудь привычном предмете, тысячу раз виденном. Пробегал по саду и вдруг застывал перед деревом, которое ничем не отличалось от других деревьев. Стоял, внимательно разглядывал, обходил кругом, даже щупал ветки, а после этого сыпал неожиданными вопросами:

Почему каждое дерево растет по плану? Почему береза похожа на березу, дуб — на дуб, сосна — на сосну? Почему она не может вырасти комом, в виде скалы или в виде семечка, только большого?

Объясняй ему после этого секреты наследственности, которые не до конца-то еще разгаданы наукой.

А в шестнадцать лет этот мальчик, способностями которого восхищались педагоги, сын известного Александра Николаевича Бартеньева, тот, к воспитанию кого приложил руку сам Шаблин, вдруг сбежал из дому. Он связался с компанией «незанятых»...

Казалось, мир достиг совершенства. Вековая борьба за общечеловеческое равенство увенчалась успехом. Нет угнетения, нет насилия, даже само слово «демократия» давным-давно вышло из обихода. Кто станет говорить о жажде, если никогда не появляется потребность пить!

И прошли те времена, когда люди с некоторым содроганием глядели на быстро развивающуюся науку и технику: не вырвется ли раскрепощенная сила ядра, не покалечит ли жизнь?

Настала новая, рабовладельческая эра, только теперь рабами людей были не другие люди, а покорные машины. Что угодно человеку-господину — прикажи, любая прихоть будет исполнена.

Прикажи!.. И это самое важное и самое трудное человек-господин взял на себя. Мысль и воля, силы и нервы, бессонные ночи, глубочайшие изыскания и тончайшие опыты — все было направлено на то, чтобы отыскивать возможности, куда приложить железную силу подневольных машин. Каждый приказ машине должен нести новое, неоткрытое; повторить уже однажды сделанное машина, обладающая памятью, способна и сама, без человека. Приказ стал творчеством.

Казалось, мир достиг совершенства. Но абсолютно совершенства не существует в природе. Совершенство, к которому ничего нельзя прибавить, — это застой, это смерть. Мир жил, развивался, значит, он не достаточно совершенен, он может стать еще совершенней. В этом великое счастье бытия.

Река течет меж берегов. Река течет от истока к устью, а никак не вспять. Но вместе с этим узаконенным течением вперед неизбежны завихрения; случается, что брошенную щепку может понести вспять.

Человечество стремительно двигалось вперед и... создавало свои завихрения.

Машина-раб к твоим услугам, за тебя она сделает черную работу, даже умственно черную! Казалось нужно малое — сумей приказать ей, и она исполнит все. Но приказать нужно с умом, иначе машина повторит человеческую глупость, мало того — удесятрит ее с

машинной педантичностью. Приказ стал творчеством!

Особые системы воспитания, сам дух творчества, который проник во все стороны жизни, развивал способности в таланты, таланты в гениев. Никогда еще планета не несла на себе столько пронизательных, высоких, разносторонних умов.

Но не все рождаются одинаково способными, не каждый от природы талантлив. Неодаренные люди, допущенные к машинам с их слепой покорностью, с их могучей исполнительной силой, могли стать опасны для общества. И общество, предоставляя им право жить в роскоши, доступной всем, ограничивало их деятельность.

Ум не признает совершенства; тот человек умен, кто непримиримо критичен к себе; глупость, как правило, самомнительна и самоуверенна, в претензиях не знает границ. И люди без дарований, но с непомерными претензиями хватались то за одну, то за другую творческую работу, срывались, негодовали: «Нас не понимают! Не ценят!»

В последнее время такие обиженные откровенно возвестили о себе: «Мы незанятые! Нас презирают, презираем и мы всех, весь мир, в том числе и саму жизнь. Зачем жить? Зачем плодить будущие трупы, жертвы неумолимой смерти?»

«Незанятые» не мылись, не причесывались, отращивали бороды: «Не желаем пользоваться благами жизни!» Большинство из них, однако, не собиралось расставаться с «постылой» жизнью, и только какие-то фанатики-одиночки выдерживали принцип: время от времени их трупы находили на городских площадях, в постелях, в ваннных комнатах...

Случалось, что молодой человек, способный, восприимчивый, чья жизнь могла стать подарком для

общества, при первой неудаче впадал в отчаяние: «Не приспособлен, не знаю, что делать — один путь...» И уходил к «незанятым». А там проповедники житейской брэнности задурманивали ему голову...

К ним-то и сбежал Игорь Бартеңев.

В течение двух месяцев его не могли разыскать. Мать слегла в постель.

Явился сам, как и полагается, встрепанный, опустившийся, в кричащей, живописной рванине. Опустившийся, но не одичавший, только взгляд перешедших от матери серых, чуть навывкате глаз чуточку тя желей, да втянулись щеки, и в лице угловатость сменила прежнюю мягкость. Прогнали мыться. Мать плакала. Александр Николаевич решил устроить семейный суд, попросил прийти Шаблина.

Старому ученому шел семьдесят восьмой год, но держался он все еще прямо, седую голову носил высоко, лицо потемнело, сморщилось, а в каждой морщинке — прежняя наэлектризованная энергия.

Был осенний день, резкий ветер за слезящимися окнами срывал с деревьев последние, расквашенные дождем листья. В камине веселыми языками горели импровизированные поленья. Александр Николаевич по праву главы семьи взял на себя роль председательствующего. Все приготовились к суду долгому и обстоятельному. Но суд вышел короткий.

— Рассказывай, что толкнуло? — спросил отец.

Игорь, чистый, раздумавшийся, тщательно причесанный, но с каким-то непривычным выражением голода на возмужавшем лице, спокойно ответил:

— Удивительней, что никого из нас на это ничто не толкнуло.

Мать удивленно вскинула покрасневшие от не-просыхающих слез глаза. Александр Николаевич, заметно раздавшийся за последние годы, затянутый в свой строгий профессорский костюм, скрипнул стулом и не нашелся, что ответить. Шаблин неожиданно хмыкнул, и глаза его молодо заблестели среди прокаленных временем морщинок.

— Коллегианами интересуемся, а под боком... Три человека здесь, всех троих уважаю. А никто из вас не бывал среди них. Даже вы, Игорь Владимирович.

Шаблин снова то ли хмыкнул, то ли кашлянул.

— Милый мой, — сказал он негромко, — тебе кажется, что открыл дверь в космос. Да, из нас никто не бывал, но многие из уважаемых нами людей бывали, интересовались, пытались исправить положение.

— И что?

Шаблин опять неопределенно хмыкнул, не ответил.

— Не в состоянии! Бессильны! Вы это хотите сказать, Игорь Владимирович?

— Нет, этого я не сказал. Что-нибудь придумаем. Но не всякий орех сразу раскусишь.

Игорь замолчал и насупился.

— А о матери ты подумал? — спросил сурово Александр Николаевич. — Ты погляди на нее!

— Мама должна простить меня... — И вдруг голос Игоря сломался, натянуто зазвенел: — Это такое несчастье, это такая беда!.. Этого не должно быть! Неужели мы не можем?!

У матери было измученное, всепрощающее, испуганное лицо. Александр Николаевич впервые видел ее испуг: «Вот и сын силу забирает».

— Хорошо, иди, — отпустил он с прежней натянутой суровостью. — Мы тут без тебя потолкуем.

Игорь не стал доказывать свое равноправие, не напомнил о том, что уже достаточно взрослый, поднялся, тонкий, легкий, с опущенной головой.

— А что я говорил? — сказал не без торжества Шаблин. — Что я вам говорил всегда? Растет нормальный человек, качественный... Признаемся: всем нам было немного стыдно перед ним.

— Да, стыдно, — тихо ответила молчавшая Галя.

С этого дня Шаблин уже не как дед, а как товарищ сошелся с Игорем.

Часто можно было их видеть вдвоем, друг против друга — стар и млад. У Шаблина из пухового ворота вязаной куртки торчит тощая, жилистая шея, сухие, темные руки брошены на острые колени, на спеченном лице величаво-серьезное выражение. У Игоря возбужденно-потемневшие глаза, румянец пятнами и в отточенном профиле напряжение.

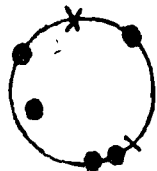
О чем толковали они между собой? Наверно, о вечной теме — о жизни. Один о ней мог судить потому, что ее уже прожил. Другой судил по тому, что предстояло прожить. Не удивительно, что нашли общий язык.

Прошел год, и в этот год Шаблин неожиданно сдал. Та же вызывающе прямая выправочка, та же твердая походка, но черные глаза опаливают нехорошим жаром, и при этом какое-то судорожное метание зрачков, словно старик каждую секунду ждет: кто-то его ударит сзади. И изрытое кремневое лицо, и глубоко ввалившиеся виски...

Возле Института мозга стал появляться кражистый человек в безупречно гладком костюме, с плоским монголоидным лицом и плечами кулачного бойца. Это

был известный невропатолог. Шаблин стал прибегать к помощи тех, кто смотрел на него, как на бога. Бог ищет защиты у верующих в него — дурной признак.

12



ПЫТЫ над змеями, над насекомыми, над собаками, опыты при самой тонкой аппаратуре, экспедиции, поднятые архивы — осада велась по всем правилам современной науки почти восемнадцать лет, но крепость оставалась неприступной. А возможности все исчерпаны, пора ставить точку.

За это время Александр Николаевич Бартенев стал видным профессором, старая слава «космонавта Лямбды Стрелы» как-то потускнела, его имя мало-помалу получало вторую известность.

Труд Бартенева составил три объемистых тома — материал для будущих исследователей. Он, как классификация Линнея, будет ждать появления своего Чарлза Дарвина. Александр Николаевич с некоторой грустью листал свои опубликованные работы. Кто-то возьмется за них, какой светлый гений! Быть может, это будет юнец, обладающий не столько знаниями, сколько дерзостью мысли. Ох, эти знания!.. Александр Николаевич часто испытывал их тяжесть. Едва он задумывался над какой-нибудь проблемой, как его уникальная память услужливо подсовывала: а такой-то ученый авторитет по этому поводу говорит то-то, а другой — другое, третий — третье. И невольно становишься рабом чужих мнений...

Все-таки вышедший труд решили скромно отметить на семейном вечере.

На столе стояли вина с Кавказа, были открыты окна в сад, гости пили и спорили. Нет, спорили не о работе Александра Николаевича — ее обсудили, приняли, признали ценность. Некий Кальминус на другом полушарии опубликовал статью, где, почтительно адресуясь к открытиям академика Шаблина, утверждал, что в скором времени человечество окончательно победит смерть.

Шаблин обозвал Кальминуса кретином. Черные, узко посаженные глаза сегодня сильнее обычного опалили присутствующих мрачным огнем, сухое лицо отливало старой медью, голос был надтреснут, и в нем проскальзывала непривычная раздраженность.

— Ваш Кальминус, или как там его, ни черта не понял из моих выводов!.. Бессмертия не существует в природе. Вас это огорчает?.. А представьте себе мир, состоящий целиком из стариков. Мир, не обновляющийся, застывший. Это же стоп в движении материи! Это общая смерть. И смерть, извольте заметить, тягучая, медленная, как от проказы...

В это время в комнату вошла Галя с блюдом свежей клубники. На ней было просторное белое платье, открывающее тронутые легкой полнотой красивые руки. Вошла она плавной поступью, с той неуловимой горделивой осанкой цветущей женщины, у которой давно позади тревожные сомнения, — довольна своим обжитым миром. Гости невольно повернули головы в ее сторону, и она улыбнулась всем покровительственно и понимающе: «Что ж, знаю, что нравлюсь... благодарна вам...»

А Шаблин продолжал:

— Я старик, но при виде человека, находящегося в определившейся молодости... Вот при виде ее... ее... ее...

Глаза Шаблина беспомощно вспыхнули, как у за-
травленного кролика, он с подавленным ужасом гля-
дел на Галю, держащую поднос с клубникой. У Гали
медленно-медленно, как испаряющаяся роса с травы,
исчезла улыбка с лица. Шаблин страдальчески смор-
щился.

— Что со мной?

Все молчали, переглядывались.

— Странно, очень странно... Представьте, я забыл
ее имя... Ее... Ее...

Шаблин содрогнулся всем телом и отвернулся.

— Все ясно, — сказал он хрипло.

И, подняв опавшее, обмякшее лицо, попробовал по-
шутить.

— Вот вам и бессмертие... Мне весточка с того
света...

Никто в ответ не обронил ни слова.

В полночь гости разошлись. Окна закрыли, так
как из сада тянуло ночным холодом и сыростью. Шаб-
лин не спешил уходить.

— Пусть придет Игорь, — попросил он.

Галя сходила за сыном.

Он пришел сонный, с румяным от нагретой подуш-
ки лицом, со спутанной шевелюрой.

— Ты меня звал, крестный?

Шаблин невесело улыбнулся:

— Не тревожься, ничего со мной не случилось.
Просто хочу с тобой посидеть. С вами, со всеми...

«Крестным» Игорь величал Шаблина только на-
едине, впервые при родителях назвал его не по имени
и отчеству. Шаблин оценил это.

— Налейте мне еще вина.

Он пригубил рюмку и заговорил:

— Вот и день прошел... День... У человека в жизни каких-нибудь тридцать тысяч этих дней. Из них тысячи четыре уходит на зеленое детство да столько же на старость. Мир велик, а жизнь мизерна... Едва уловимая искорка во Вселенной — я! Блеснул — и нет. А во время этого мимолетнейшего блеска успевает родиться нечто такое громадное, которое может осознать и саму Вселенную, и самого себя, и ничтожную краткость собственного существования, и бессмыслицу в устройстве материи. Да, я, научившийся мыслить, вдруг должен превратиться в труху — бессмыслица! Какая-то неувязка в самой природе...

За окном тихо шумел сад. Шумел порывами, словно деревья вели вялую, необязательную беседу. Бросят ленивую, влажно шуршащую фразу и замолчат надолго.

Ссохшийся в суровую мумию старик бесцветным голосом говорил о проклятии, нависшем над каждым человеком. Об этом думал и библейский Экклезиаст в своих царственных покоях и какой-нибудь изможденный Иван, не помнящий родства, упавший на землю во время перегона каторжников. Думали миллиарды прошедших по планете людей. Их давно уже нет, и шумят сады под окнами, как прежде шумели, не радостно и не горестно, даже не равнодушно. Просто шумят, потому что существуют.

А перед стариком сидел юноша, красивый и здоровый, сидел, слушал, глядел с настороженным, недоверчивым страхом. Он не понимал этих речей, и они были страшны для него своей непонятностью. И те двадцать с лишним тысяч дней, которые суждено ему было еще прожить, — для него вечность, более необъятная, чем застойная, близкая вечность Вселенной.

— Мучает... Признаюсь... — ронял тихо слова Шаблин. — И лечишь меня от этой муки ты, Игорь.

— Как так?

— Взгляну на твою розовую физиономию, и становится стыдно: не имею права отрывать свое собственное «я» от тебя, от твоего сына, который еще не родился, от всех, кто есть и кто будет. Индивидуализм — патология человеческого мышления. Эх, если б это могли уяснить себе люди, насколько стало бы им проще жить!.. Ну, я пойду. Пора...

Александр Николаевич поднялся с места.

— Подзову машину.

— Не надо. Я пешком...

— Сыро на улице.

— Не беспокойся, мне не суждено умереть в подворотне.

Угрюмовато-спокойный взгляд через плечо, кивок головы. Дверь закрылась за стариком.

На столе осталась рюмка с недопитым вином.

Утром в спальне нашли его мертвым. На столе лежала тетрадка дневника со страницами, исписанными твердой рукой.

Первые листы ничем не отличались от научного исследования: цифры, химические формулы, выкладки со сносками, доказывающие невозвратимый распад нервных клеток в мозгу. Далее сухое, пространное доказательство, почему невозможно омолодить дряхлый мозг и почему человечество не имеет права искусственно повторять интеллект. Видно, что в последние дни Шаблин мечтал о бессмертии, иступленно искал его и пришел к выводу: невозможно.

В дневнике нашли краткое завещание:

«На выборах на должность директора института свой голос отдаю за Александра Николаевича Бар-теньева.

Есть у нас более способные ученые, но они (быть может, по причине личной способности) недостаточно объективны, волей или неволей будут ограничивать растущие таланты, подавлять их самостоятельность. Возможно, этим существенным недостатком грешил и я в свое время. Бартеньев лишен его.

Маленькая, чисто сентиментальная просьба: похороните меня возле старой могилы на холме, рядом с солдатами. Каждый по-своему воюет за жизнь.

Ш а б л и н»

В самом низу приписка:

«Игорь, милый мальчик, если ты свяжешь свою жизнь с нашим институтом, то запомни одно: ищи бессмертия не одного человека, а всего человечества. Фраза общая, даже тривиальная, но тривиальное-то обычно забывается».

Его похоронили на холме, вместо памятника лег упруго-горбатый, огромный камень, изборожденный извилинами, — монументальная копия мозга. Никакой надписи. Потомки и без того запомнят, кому принадлежит эта могила.

Со всех концов света летели люди, везли цветы. В цветах утонул не только каменный мозг, но и солдатский обелиск, покоящийся под собой рядового Осипова, сержанта Куницына, младшего лейтенанта Сукнова. Не умолкала траурная музыка.

А пока на Земле совершались эти события, в глубине Галактики растянувшиеся полки радиоволн достигли середины пути.



ВЫМАХАЛИ дубки в институтском парке. В жаркий полдень на дорожках — прохладная тень, при набегающем ветерке играют в пятнашки солнечные зайчики.

Каждое утро, в восемь часов, через парк к главному зданию института неторопливо вышагивал высокий, ссутулившийся человек. В том, как он выступал, в том, как он был одет — традиционный профессорский костюм, темный галстук по безупречно белоснежной сорочке, — сказывалась стариковская чопорность, которая у многих приходит преждевременно, вместе с высоким положением в обществе.

Александр Николаевич Бартенев — бессменный руководитель Института мозга, капитан того корабля, на который поставил парус покойный Шаблин.

Неожиданно этот могучий корабль, вооруженный сотнями лабораторий, переменял паруса, взял несколько иной курс. И не капитан был повинен в том.

Случай, быть может, как-то предопределивший поворот, произошел еще при жизни Шаблина, когда шестнадцатилетний мальчишка сбежал из дому и два месяца бродил по городам в живописно пестрой рванине «незанятых».

Педагоги, руководители предприятий, вся общественность вместе с печатью, кино, телевидением действовали: разрабатывались новые методы воспитания, по-новому организовывались трудовые процессы, использовалось все, все, кроме насилия, многое было достигнуто, но никак не удавалось заставить природу, чтобы она щедро одарила каждого человека без исключения.

Игорь Бартенев получил звание кандидата наук.

В один прекрасный день он явился в директорский кабинет, тот самый, в котором когда-то сидел Шаблин. Его теперь занимал Александр Николаевич. Игорь явился не один, за ним ввалилась целая компания таких же, как он, молодых ученых: спортивные костюмы, спутанные шевелюры, с затаенным вызовом поблескивающие глаза и на лицах у всех одинаковое жестковато-упрямое выражение—соловьи-разбойники. А Игорь держится атаманом: невысокий, подобранный, одет со щеголеватой небрежностью, на челе — печать правдоискателя.

— Мы предлагаем новую программу научных исследований. Просим ознакомиться.

— Очень хорошо. Рассмотрим на ближайшем ученом совете.

— Нам необходимо, чтоб институт на своей территории построил детский сад.

— Детский сад?

— Да, вмещающий двести детей.

— Но вы ученые, а не воспитатели.

— Попробуем быть теми и другими. Попробуем воспитывать то, что не заложила природа.

— Вы хотите «перекроить» человеческий мозг?

— Да, так сказать, на ходу. Постараемся создать такие условия в детском организме, которые бы способствовали росту клеток, выполняющих функции ассоциативного мышления.

— А не кажется ли вам, молодые люди, что вы запели давно забытую песню социологов-пессимистов: человек несовершенен, его не исправишь, не перевоспитаешь самой жизнью, нужна грубая хирургия?

— Нет! — возразил Игорь. — Наше вмешательство как ученых бессмысленно без того воспитания, которое ведется сейчас в обществе. Мы хотим только од-

ного: ускорить воспитание, сделать людей более восприимчивыми к воспитанию, воспитать способность к творчеству!

— Хорошо, посоветуемся...

— Ваш долг... — Игорь называл сейчас отца на «вы»: он не сын, а официальный представитель группы молодых ученых, отец — не отец ему, а директор института. — Ваш долг — отстаивать нашу точку зрения.

— А если при внимательном ознакомлении я не соглашусь с вами?

— Тогда будем считать, что вы забыли посмертное завещание Шаблина — помогать молодежи.

Шах королю, ничего не скажешь. Именем покойного Шаблина... Шаблин по-своему наметил русло научных работ, эти молодцы правят в сторону. Именем Шаблина... И все-таки...

И все-таки на том месте, где когда-то стоял застекленный террариум и Александр Николаевич колдовал над гадюками и анакондами, был разбит сквер, вырос развеселый теремок — новая лаборатория «Детский сад». В самом центре научного городка, где, казалось, сам воздух пропитан премудрыми таинствами, под детский визг завертелись пестрые карусели, закачались легкомысленные качели, и трехлетние карапузы с серьезностью ученых мужей стали лепить из песка пирожки.

Семь лет велась работа. За эти семь лет дети из детского сада перешли в школу. И тут-то группа Бартеньева-младшего решила выступить в печати.

Их коллективная статья напоминала революционную декларацию:

«Умственное неравенство людей, последнее неравенство в обществе, можно ликвидировать!

Это не значит, что все люди станут похожими друг на друга, как штакетник забора. У каждого останутся свои пристрастия, свой вкус, свои привычки, у каждого жизнь будет складываться по-своему и на свой лад формировать человеческую натуру. Если колосок пшеницы, выросший на одном поле, под одним небом, при одних и тех же дождях, что и другие колосья, имеет свои особенности, то что уж говорить о многообразной человеческой личности.

Начнется яростное, но благородное соревнование в творчестве. И это уже не будет борьба ума и косности. Понятия — победитель и побежденный — останутся в силе, но отщепенцы в обществе исчезнут навсегда!..»

И мир от этих слов загудел, как улей, на который упало яблоко. Никому не известные имена молодых ученых стали склоняться во всех концах земли. Старым профессорам пришлось потесниться за своим столом. И новые голоса раскололи чинную академическую тишину. Александр Николаевич прислушивался к ним. Попробуй-ка теперь не прислушаться!..

Капитан корабля?.. Ой ли... В лучшем случае — вымпел на ладе молодых аргонатов.

Как вместительна человеческая жизнь! Как она концентрирует время! Великая армия радиоволн, запущенная к Лямбде Стрелы, уже неслась за пределами солнечной системы, когда Игорь бессмысленно тарацил из пеленок глаза, пускал пузыри. И вот он уже вырос, возмужал, стал видным ученым, а полки радиоволн, выстроенные до его рождения, все еще мчатся по пустыням Галактики.

Сквозь рассеянную холодную пыль, сквозь разреженные до неощутимости газы, мимо обжигающих звезд, омывая планеты, недостойные их внимания, летит невидимая душа молодого Александра Бартенье-

ва. Теперь уже близок обетованный край, скоро конец затянувшегося похода.

Александр Николаевич знакомился со свежими данными, поступившими из одной лаборатории. Раздался гудок телеэкрана. Кто-то просил о встрече...

Молодой человек с добродушной складкой рта и выражением дежурного благоговения отрекомендовался как репортер широко известной газеты.

— Вы, наверно, знаете, почему мы осмеливаемся вас потревожить?

Да, Александр Николаевич знал. Ровно через неделю первые радиоволны, несущие его тридцатишестилетней давности интеллект, должны — по расчетам — упасть на планету Коллега. Он знал это и был спокоен: ну и что ж, ведь опять ждать у моря погоды еще по крайней мере столько же, а практически наверняка больше. Не дожить... Зато его собеседника интересовало это, вопросы сыпались, как горох.

— А как по-вашему: примут коллегиане информацию или нет?..

— А сколько времени у них займет восстановление мозга?..

— А не пошлют ли они встречную информацию такого же типа?..

Кто бы смог ответить на эти вопросы?

— Тогда скажите от себя несколько слов нашим читателям.

— Пусть молодые читатели вроде вас, милый мой, лет сорок спустя гостеприимно встретят моего заблудшего двойника, а читатели моего возраста пусть смирятся с тем, что никогда не узнают ответов на те вопросы, которые вы мне задали.

— Хотелось бы услышать что-нибудь оптимистическое, Александр Николаевич.

— А разве я сказал недостаточно оптимистично?.. Нет? Тогда извините и прощайте. Мне нужно работать.

Такие разговоры он вел каждый день по нескольку раз. И вот день...

Прозрачное, остро свежее осеннее утро, с инеем на курчавящейся травке, с костисто застывшими ветвями голых деревьев в бледном небе... В этот ли день или в следующий? Но если и случится, то только на рубеже этих двух дней.

Попадут ли волны на антенны коллегиян, или они обметут их планету, как и те, что встречались раньше на пути, обметут и умчатся вдаль без возврата? Блуждай тогда в бездонном мире, неприкаянная душа, блуждай, пока не рассеешься, не исчезнешь, так и не воплотившись в самое совершенное в мироздании вещество — человеческий мозг. Сама по себе душа мертва, ибо только материя может быть живой.

И, как всегда по утрам, Александр Николаевич вынул из аппарата фотогазету. На первой странице — два портрета, два лица, молодое и старое, наголо бритое и с седой шевелюрой. Портрет двадцативосьмилетнего парня и портрет старца на седьмом десятке — един в двух лицах. А рядом крупно сообщение: «СЕГОДНЯ КОЛЛЕГИАНЕ НАЧАЛИ ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ МОЗГА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ВАРТЕНЬЕВА!!».

«Начали прием...» Никаких сомнений. Впрочем, эти слова писал молодой оптимист.

Галя, родная, привычная, со знакомыми до боли морщинками у голубеющих глаз, вошла к нему, улыбнулась. И морщинок на узком лице стало еще больше.

— Не знаю даже, поздравлять тебя или нет?

— Поздравь на всякий случай. Будем верить.

Кивнула головой.

— Будем... Если нет, то мы с тобой вряд ли узнаем. Будем верить! Поздравляю. Надень черный костюм, в институте сегодня торжественный вечер.

— До вечера еще далеко... Да и зачем парад?

— Все равно надень, пусть знают, что ты веришь. Он надел.

А вечером выступал с воспоминаниями. И на него смотрели из зала жадные молодые глаза, жадные от нетерпеливого желания. Эти молодые люди, быть может, даже больше него самого желали победы, так как рассчитывали дожить до возвращения. Эта уверенность заразила его. Рассказывая о подготовке к «полету», о «запуске души», он был почти убежден: первая половина дела сделана. И он говорил:

— Тридцать шесть лет назад, в ту минуту, когда передавались позывные — «Чрезвычайно важно!», — один человек мне сказал: «Придет время, и там содрогнутся от этих сигналов». Время пришло, товарищи! Быть может, именно в эту минуту испытывает восторженный ужас радиоастроном планеты Коллега!

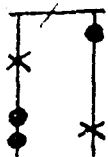
И зал грохотал аплодисментами.

А дома он снял с себя торжественный черный костюм и вместе с ним уверенность, словно черный костюм, как военный мундир, призывал к долгу — верить.

Все пошло по-старому. Каждое утро, в восемь часов, неторопливой, стариковской походкой проходил он под заматеревшими дубами к институту.

Сокрыто непроницаемым мраком то, что делается за пропастью шириной в тридцать шесть световых лет. Во всяком случае, для него. Молодым счастье. Да, счастье: узнают неведомое.

И так прошло еще пять лет. Пять неторопливо-спокойных лет...



РОТИВОПОЛОЖНОСТЬ зла — добро, а противоположность жизни — смерть; противоположность человека благого — нечестивец, а противоположность света — тьма; взгляни на деяния бога — все они по два находятся друг против друга...»

Светил ночничок над изголовьем; за окном началась непробиваемо темная мартовская ночь, а стены хлестала метель, быть может, последняя метель этой зимы. И ветер снаружи завывал по-древнему; под такие завывания, должно быть, складывались когда-то при свете лучины тягучие русские песни.

Александр Николаевич перед сном любил полистать какую-нибудь книгу. В этот вечер он открыл «Премудрости» Бен-Сира, довольно-таки давнее издание с обширными комментариями.

Ветер проносился мимо, не в силах хоть чуть-чуть нарушить теплый и покойный уют просторной спальни, со стенами, задрапированными тяжелыми шторами, с полом, устланным толстым ковром, и ночником, парящим в полумраке синей птицей. Несмотря на завывания, здесь стояла застойная тишина, шелест пожелтевшей страницы казался слишком громким.

Приятно было с высоты современности наблюдать, как копошилась человеческая мысль две тысячи с лишним лет тому назад, как беспощадно и слепо нащупывала истину, как в бессильном отчаянии взывала к богу. Приятно... Наверно, в представлении этих древних такое удовольствие мог получать только сам всемогущий господь, наблюдавший из своего недоступного поднебесья людскую суету. Приятно на минуту ощутить себя богом.

Вдруг Александр Николаевич вздрогнул — без причины. Так иногда вздрагиваешь, когда погружаешься в сон. Может, он уже засыпал? Нет. Только что прочитал слова: «...все они по два находятся друг против друга...» Тело почему-то охватил легкий жар, испарина проступила на лбу. Неожиданно в темноте спальни раздался странный, нежный квакающий звук. Страшно... Тишина. Воеет ветер за стеной, и стонет голый сад. Ощущение такое: он словно переродился за эту секунду, стал иным, новым, чем-то непохожим на себя.

Сбросил ноги с постели на ковер. Скрытые под толчком лампы, как всегда, услужливо осветили просторную комнату. На подвижной вешалке висит, спадая мягкими тяжелыми складками, халат, ночной столик, тапочки на ковре, часы на стене показывают без пяти одиннадцать. Нет, ничего кругом, что могло бы издать квакающий звук. Да и звук этот ни на что не похож. Александр Николаевич мог бы поклясться: никогда в жизни не слышал такого.

«Нервишки пошаливают!..» Ничего себе объяснение для ученого, который почти всю жизнь занимался проблемами нервной деятельности. Но другого объяснения не придумать.

Александр Николаевич снова лег в постель, верхний свет потух, снова запарил ночничок синей птицей.

Взял в руки книгу, нашел прочитанное место:

«Противоположность зла — добро, а противоположность жизни — смерть; противоположность человека благого...»

Странно... Его охватывает какое-то беспокойное нетерпение, почему-то тянет встать с постели, куда-то идти, что-то делать... Куда? Зачем? Что случилось? Может, в институте беда? Может, Галя почувствовала вдруг себя плохо? Она побаливает последнее время...

На ночном столике несколько кнопок. Александр Николаевич нажал одну. Аппарат у постели Галины Зиновьевны бесстрастно, вкрадчивым голосом начал докладывать:

— Сон глубокий. Пульс нормальный. Деятельность мозга...

Александр Николаевич выключил аппарат. У Гали все благополучно, да и в институте ничего не может случиться.

По-прежнему тянет встать, какое-то нетерпение.

Звук... Нежное кваканье, но какое-то осмысленное. Длилось всего секунду...

И ударила в голову сумасшедшая мысль: «А что, если?.. Мой мозг и его мозг одинаковы. Если и возможна связь... Что, если там, на Коллеге, начал жить он!»

Стало холодно от этой мысли.

А потом стыдно...

Кто он — мнительный неврастеник или ученый? Он же прекрасно знает, что святой дух не может переносить ощущения, их переносит что-то материальное — электромагнитные или какие-то другие волны. Но какие бы они ни были, эти архитаинственные волны, не могут же они двигаться быстрее обычных радиоволн. Даже если предположить невероятное: двойник жив, сообщает о себе, — то услышишь его через те же тридцать шесть лет, ни больше, ни меньше. Ожил сейчас — дудки! Но тогда, что с ним?

И нет ответа, кроме обывательски убогого: «Нервишки пошаливают...»

Он встал с постели, накинул халат, прошел в другую комнату, сел за стол и записал все: ощущения, звуки, год, месяц, число, время — двадцать два часа пятьдесят пять минут — время первого толчка.

На следующий день Александр Николаевич попросил сделать самую тщательнейшую проверку его здоровья. Для виду жаловался на головные боли. Научные сотрудники посмеивались: «Наш дед стал мнительным». Исследования показали: сердце не в очень хорошем состоянии, слегка пошаливает печень, можно желать лучшего от кровотворной системы, но нервная система совершенно здорова, память по-прежнему необычно емкая, ценная. Память, вошедшая у людей в пословицы.

Все время он испытывал какое-то возбуждение, все время его тянуло куда-то ехать, что-то делать, появился прилив молодой энергии, а по ночам он плохо спал.

Как-то раз проснулся от парной духоты. Жара и вязкая влага окутывали тело. Скинул одеяло, сел: в спальне, как всегда, было прохладно, воздух чист и легкий.

Он попробовал и сам вызывать эти ощущения.

Шел рабочий день. Александр Николаевич сидел в институте один, в кабинете. Солнце косо било в обширные окна, перечеркивало пластикатовый паркет. Стол, заваленный бумагами, фотографиями, пленками, на подвижной подставке экран телеаппарата, кресла, диваны, а с улицы доносится весенний крик грачиной стаи. За последние десять лет грачи густо заселили институтский парк, навешав на подростящие дубы тяжелые шапки гнезд. Обстановка, не способствующая галлюцинациям.

Положив руки на стол, глядя перед собой в бесстрастную поверхность выключенного телеэкрана, Александр Николаевич заставил себя думать только о своем двойнике, о планете Коллега. Прошла минута, другая... Матовый, ничего не выражающий экран, крик грачиного базара за окном, но в то же время

настойчиво возникают в воображении какие-то неожиданные гигантские призраки, окутанные плотной мглистостью. И он словно окунулся во мглу. Мгла не обычна, не серая — какая-то очень светлая, перенасыщенная светом, напоенная им. Темные громады размыто-правильной формы чем-то напоминают однообразно чередующиеся колоссальные кристаллы, их ломаная линия двигается в одну сторону. Александр Николаевич скорее угадывал, чем чувствовал, густоту воздуха, его влажную липкость, но это было даже приятно, он как бы купался в ней. Гиганты утонули в сияющей мгле, растворились, но снизу поползла какая-то сумрачная, угрожающая, тяжелая туча. Ползла от почвы, ширилась и росла, растрепанная, бесформенная... Нет, не туча, похоже — заросли, можно разглядеть широкие, почти черные листья с мокрым блеском, можно услышать их жесткое, клеенчатое шуршание... И нет неба, нет далее — золотистый туман над головой, золотистый туман над вершинами странных растений, атмосфера, в которой, кажется, как в воде можно плавать. И Александр Николаевич вздрогнул: знакомый квакающий звук!

Матовый телеэкран, солнце, наискось хлещущее в кабинет, загроможденный бумагами и пленками стол, и с воли — земной из земных — взбудораженно весенний грачиный переполох.

Может, матовая поверхность телеэкрана и вызвала в воображении туманные картины. Но эти кристаллы-колоссы, эти деревья с их жестким, кожаным шумом, наконец, этот уже знакомый звук. Никогда прежде ничего подобного не приходило в голову...

Среди бела дня — бред с открытыми глазами. Бред, вызванный по желанию... Он сам не верит. Однако странный бред.

Он хотел посоветоваться с Игорем. Но Игорю некогда интересоваться небом, он слишком увлечен Землей.

Совсем недавно Бартеньев-младший, профессор Института мозга, стал стучаться в двери киностудий, в мастерские видных художников, к режиссерам театров, к известным поэтам.

В разных концах земли живут два человека. Один счастлив, другой несчастен. И если счастливому сказать: с таким-то стряслась беда, тот-то страдает, — счастливый чаще всего останется равнодушным. Трудно проникнуться тем, что далеко, незнакомо, не проходит перед глазами, и никаким увеличением количества «мыслительных» клеток под черепом не сделаешь его отзывчивее. Разве не случается, что видный ученый менее отзывчив, чем самый заурядный человек?

Но вот между счастливым и несчастным встает художник. Он способен заразить и счастьем и несчастьем. Чем талантливей он, тем сильнее его влияние, — гений добивается того, что чужая беда становится твоей собственной. А переживший беду, привнесенную художником, человек меняется, становится тоньше, внимательнее. Говорят: искусство — форма общения. Если так, то самая наивысшая, какая только доступна человечеству. С помощью искусства можно сродниться с тем, кто живет на другом полушарии. С помощью его становятся близкими занесенные из средневековья страдания Гамлета. Пространство, время, разница характеров — не помеха.

Игорь Бартеньев считал, что если б древнюю идею справедливости с ученым видом объясняли только философы, то мир выглядел бы гораздо непригляднее.

Пришло время буквально каждого из людей Земли заставить жить искусством, дышать им. Ум воспитыв-

вается, нужно воспитать и душу, и уж тогда соперничающее друг с другом человечество освободится от каких бы то ни было болезней, зашагает в бессмертие.

Игорь Бартеньев стучался в двери режиссеров и художников, музыкантов и писателей. И эти режиссеры, художники, писатели выдвинули идею «Театра без зрителей». Идея эта не родилась, она была поднята из праха веков, как неудавшаяся в свое время, отвергнутая, напрочь забытая.

Театр без зрителей...

Сценой этого театра выбрали кусок казахских степей. Здесь будут играть полтора миллиона актеров. Большинство из них никогда не ступало ногой на сцену, даже на любительскую.

Три недели без перерывов и антрактов, три недели днем и ночью должно длиться эпохальное представление «Гражданская война в России».

Массовое творчество началось задолго до «поднятия занавеса».

Все должно быть так, как было в минувшее время — время героев и злодеев, бескорыстных фантазеров и корыстолюбивых узурпаторов, высоких идей и низменного политиканства, время «Интернационала» и разухабистого «Эх, яблочко!..», время тифозных вшей, голодного брюха, взведенного курка и страстно-возвышенных декретов на оберточной бумаге.

Историк критиковал художника, художник советовался с инженером. Философ объяснял актеру мировоззрение его героев, а сам учился у актера актерскому мастерству. Изобретатели ломали головы над тем, как устроить, например, снаряды, которыми можно было бы стрелять из пушек, чтобы взрывались, но не могли никого ранить.

Среди степей воздвигалась часть старой Москвы с мощеными булыжником тесными улочками, обшарпанными стенами дряхлых особняков, разломанными заборами, лохматящимися плакатами, требовательно взывающими: «Ты! Записался добровольцем?» Часть старой Москвы с Красной площадью без привычного Мавзолея Ленина под торжественной кирпичной стеной Кремля. Легендарный Ленин жил и работал за этой стеной в скромном кабинетике, у дверей которого стоял часовой-рабочий...

Ленина должен был играть всемирно известный режиссер Фогт-Дантон, а Герберта Уэллса, фантаста-скептика, — артист Гаврилов.

С того и должна начаться эпопея, что Герберт Уэллс под охраной безупречно услужливого матроса едет через всю взбаламученную, растерзанную Россию в Москву. Впереди у него встреча с Лениным...

А для того, чтобы затянутый благополучным жирком писатель-фантаст ехал, строится старомодная железная дорога. Специально воссозданы паровозы. Прокоченные, мазутно-грязные, расхлябанные машины-ископаемые, выплевывая из труб угарный дым, потянут обшарпанные вагоны-теплушки мимо загаженных станциушек с копотно-красными водокачками. Станции будут забиты пестрым народом: бабы с сидорами и мужики с сундуками, тяжелыми, как атомные реакторы, обросшие, голодные, грязные, озлобленные солдаты с винтовками, слинявшие дворяне, выгнанные революцией из родовых имений, угрожающе-анархистского вида матросня, увешанная маузерами, гранатами, пулеметными лентами. И завяжутся драки у вагонов, и на крышах поедут одетые в рванину люди, и недоступные воображению беспризорники станут цепляться за буфера.

А кругом будет жить молодая Советская Россия. В специально скопированных бревенчатых избах, с изгородями у околиц, коровами, телегами, лошадьми, собаками, мужиками дремучего вида и бабами. Деревни тех времен — нищета и затаившееся сытое благополучие, забитость от темноты и волчья ненависть от страха за свою шкуру, батраки и кулаки, спрятанный хлеб и отряды продрозверстки, заседания комбедов и выстрелы из-за угла, брат, на брата поднимающий топор во имя классовой ненависти.

А по полям пойдут окопы, и обутые в лапти красноармейцы станут бросаться в штыковую атаку на таких же мужиков-лапотников, одетых в английские шинели. Комиссары в кожаных куртках и офицеры в золотых погонах, полководцы, выросшие из рядовых, и опустившиеся, дегенеративные генералы царских времен, кавалерийские атаки и многокилометровые переходы, полевые пушки и тачанки с пулеметом на задке... В тачанках будет разъезжать и шайка батьки Махно, разудалая и озлобленная.

Из этой клокочущей жизни и свяжется такая же пестрая и клокочущая постановка, распадающаяся на тысячи конфликтов, связанных одним — осмыслением отдаленных веками тектонических сдвигов в обществе.

Видные писатели, философы, историки создали обширный сценарий, своего рода грандиозную задачу, ставящую исполнителей перед необходимостью образного анализа событий. Этими событиями будут двигать режиссеры, они участвуют в игре, как люди, облеченные властью, — революционные вожди и видные белогвардейские генералы, комиссары и контрреволюционные организаторы. Они обязаны придерживаться лишь общего развития действия, частности сами собой должны проявляться.

Все должно быть так, как было, — быт, одежда, нравы людей... И прошла дискуссия: а как с питанием? Три недели актеры Театра без зрителей должны играть голодный народ. Тут хотели сделать уступку, но актеры дружно взбунтовались. Играть, так играть всерьез. Проникать в дух времени, так проникать до конца — никаких компромиссов. Три недели! Страна голодала годами!

И специалисты стали выяснять, как печь ржаной хлеб с мякиной, чтоб оставался непропеченным...

Красноармейцев, солдат, казаков, мужиков, просто представителей деклассированных элементов играло множество кинооператоров, вооруженных неприметно маленькими, сверхпортативными кинокамерами. Они обязаны были схватывать эпизоды игры, как схватывают хроникеры-документалисты. Наверняка окажутся заснятыми сотни километров пленки. Смонтированные операторами фильмы поступят на конкурс. После того, как жюри конкурса определит лучший фильм и удачливый оператор получит признание, ему предоставят право назвать имя любого кинорежиссера. Вместе с этим кинорежиссером он, оператор-победитель, должен составить, пользуясь материалами всех фильмов, один общий фильм.

И этот фильм пойдет по экранам всех континентов, его будут показывать по телевидению. Театр без зрителя получит миллиардного зрителя. Театр ли? Эхо песни нельзя же назвать песней.

Весь мир был увлечен этой затеей. Желавшие играть составили целые армии, по своей численности, пожалуй, превосходящие те, что когда-то сражались в гражданскую войну. Седовласые профессора выражали желание стать мешочниками, капитаны космических лайнеров — кочегарами допотопных паровозиков.

Игорь Бартеньев выбрал для себя роль матроса-большевика с крейсера «Аврора».

Уже много дней в казахских степях рвались импровизированные снаряды, скакали конники, носились тачанки. А каждое утро Александр Николаевич Бартеньев шагал к институту, нес в себе не остывающее ни на минуту ощущение потайной связи с легендарной планетой, кружащей возле далекой звезды Лямбда Стрелы.

Миражи находили на него во время бодрствования, только в покойные минуты. Во время сна ему снились обычные, земные сны.

Как-то он присел на скамейку перед домом. Был тихий предвечерний час, солнце, налитое усталостью и ленью, спадало к горизонту.

Он сидел и водил прутиком под ногами, старался ни о чем не думать, наслаждаться отдыхом. И неожиданно для себя он заметил, что прутик в его руках вывел на утоптанном песке четыре отчетливые буквы, складывавшиеся в странное слово:

И М Я Т

Что это такое? По привычке пальцы потянулись к виску. Александр Николаевич напряг память: «Имят?..» Знает ли он это слово? Но память на этот раз — быть может, впервые в жизни — отказывалась ответить. Такого слова он не помнил. Но тогда почему ему взбрело в голову написать именно эти четыре буквы?

Решительные шаги. По дорожке шел странный человек в плотной, черной, слишком теплой, не по сезону, одежде. Широкие штанины мели песок, на голове шапочка блином, на туго затянутом грубом ко-

жаном поясе плоская коробка неправильной формы, она била человека по ляжке.

— Здравствуй, отец!

И тут только Александр Николаевич узнал — Игорь в старинной одежде моряка, небритый, помятый, потемневший от солнца и пыли.

На осунувшемся лице незнакомое, пугающе суровое выражение, запавшие глаза загадочны. Обдав каким-то кислым запахом, Игорь осторожно обнял отца, тяжело опустился рядом.

— Как это в ваше время говорилось: укатали сивку крутые горки, — сказал отец.

Игорь с силой провел ладонью по грязновато-рыжей, словно подпаленной щетине на щеке.

— Расстрелян белогвардейцами час назад. Вот как...

— Рад видеть воскресшим.

— В теплушках вповалку ездил, на угле в паровозном тендере спал, жрал конину, сваренную на костре.

— Конину! Ну, это слишком.

Из дому выбежала мать.

— Ого! Серьезный воин!

Рядом с поднявшимся сыном, выглядевшим сейчас кряжистым и сильным в своей воинственно грубой одежде, мать выглядела слишком сухонькой, какой-то воздушной.

— Не заболел ли?

Отец подсказал:

— Расстреляли его. Не может пережить.

Игорь махнул рукой:

— Пройдет... Ванна, а потом постель... Минутку еще посижу возле вас и пойду.

У Галины с возрастом ссыхалось лицо, а глаза становились больше и ярче. Сейчас в синеве ее глаз —

пытливое, озабоченное внимание. Неожиданно мягко попросила:

— Ты же что-то хочешь рассказать. Рассказывай.

Игорь словно ждал этой просьбы, стал рассказывать откуда-то с середины, отрывисто и путано:

— Нас повели к оврагу... Двадцать пять человек... А мы до этого сидели в каком-то хлеву. Да, да, в хлеву не в переносном смысле, — в буквальном... Грязь, смрад, навоз. Четыре стены, обмазанные рыжей глиной. Пять шагов на пять, а нас — двадцать пять человек, один на другом, ни лечь, ни сесть, стоишь на одной ноге. Пить не дают... Вывели, начали прикладами толкать. До оврага километра четыре, босиком, по колючкам... Выстроили вдоль оврага. Выстроили, а напротив меня — казак, рыжий, плечистый, борода от самых глаз растет. Взглянул я в эти глаза над бородой и, знаете, поверил! Вот такой подымет ружье и убьет. Понимаете, поверил! Овраг... Трава жесткая, в пыли, осыпавшаяся глина — этакий кусок планеты, оставшийся с сотворения мира. Подымет на меня винтовку — и конец. Тут, у оврага. Одного казака играл знакомый гистолог, как-то на симпозиуме в Варшаве беседовали. Встретились мы с ним глазами. Я на него гляжу, он — на меня. И не выдержал он. Вижу, морщится, морщится, как ребенок, вдруг — хватъ об землю свое ружье и закричал: «Ко всем чертям! Почему я должен корчить из себя эту сволочь!» Погоны с плеч рвет. А командир их, подьесаул, что ли, называется, — какой-то профессиональный актер. Он отвечает за игру. Он обязан пустить нас в расход, то есть расстрелять... Что вы думаете, не растерялся, сукин сын, ткнул издалека пальцем, крикнул: «Взять!» Набросились, руки заламывают, а мой гистолог рвется, пена на губах... И вдруг слышу кто-то за мной хрипло так, пе-

ресохшей глоткой: «Вставай, проклятьем заклеяменный!...» И все запели... И я тоже... «Вставай, проклятьем...» И ненависть, ненависть во мне. Какая ненависть! Никогда такой не переживал. Особенно к этому проклятому подьесаулу. И чувствую, всерьез чувствую, что я и есть проклятьем заклеященный... Что у меня прежде была такая сволочная жизнь, что и смерти-то, не боюсь...

Игорь вытер пот с лица рукавом бушлата, облизал потрескавшиеся губы.

— Я, наверно, долго еще буду удивляться...

— Игра порой врезается в память сильнее, чем жизнь.

— Нет, не игра, а именно жизни удивляться, нашей, этой вот... Летел сюда и глядел, словно у меня новые глаза... — Игорь помолчал с минуту, подумал, сообщил: — Об этом подьесауле думаю. Тот актер, когда снимет его шкуру, станет, наверно, годами душу свою чистить... От брезгливости... Хотя актер, им это привычно...

По узкому околышу тусклым, как древняя инкрустация, золотом надпись — «Аврора». Ленточки спадают на плечи. Тяжелый пистолет в деревянной колодке, свисая на ремнях, касается полустертого подметками слова «имят». И шероховатая жесткость сукна и дикарски неуклюжие, грубые швы на одежде. И пахнет от Игоря потом, пылью, здоровым невымытым телом, так, наверно, остро плотски пахли дикие степные кони.

— Да-а... Проклятьем заклеященный... Надо идти к себе...

Игорь поднялся с усилием, неуверенно двинулся, заматавая следы непомерно широкими штанинами, — невысокий, но прочно сшитый грубыми швами.

Отец и мать молча проводили его глазами.

О странном слове Александр Николаевич вспомнил снова только перед сном, в постели. «Имят...» Что бы это могло значить?

От двери донесся шум.

— Ты не спишь?

Стремительно вошла Галя — лицо розовое, глаза круглые.

— Ты ничего не говорил сейчас?

— Нет.

— Не читал ничего вслух?

— Да нет же. В чем дело?

— Значит, мне послышалось...

Она уселась у него в ногах — лицо все еще было неестественно, по-молодому раздумяно, мелкие морщинки разглажены, в глубине потемневших глаз — взбудораженный огонек.

— Я вдруг вспомнила... Совсем, совсем забытое... Не знаю, помнишь ли даже ты... Вспомнила реку, мостик и почему-то отражение луны на воде. Жидкое такое, беспокойное, прямо на течении... Ты помнишь это?

— Помню.

— Вспомнила, как я тебе читала стихи... И вот слышу... Совсем явственно, просто нельзя ошибиться — твой голос. Ты повторяешь: «Имя твое — птица в руке...»

— Имя твое! — подскочил в постели Александр Николаевич. — Имя-т! Вот оно что!

— Значит, ты читал все-таки?

— Не-ет.

— Думал о нем?

— Нет.

— Но что же? Право, я слышала...

— Это он! — вырвалось у него.

— Кто он?

— Галя! — Александр Николаевич схватил жену за руку. — Тебе покажется нелепым, но это он! Я его чувствую! Постоянно!.. Он там ожил.

Александр Николаевич ждал испуга, ждал, что она забеспокоится: «Ты, кажется, нездоров. Тебе нужно лечиться».

Но она лишь тихо сказала:

— Вот как...

— Но пойми — это невероятно!

— Да, невероятно, — без убеждения согласилась она. По голосу же чувствовалось: очень хотела этой невероятности, готова сразу верить ей.

— Сегодня, перед тем, как явился Игорь, ну, всего за секунду до его прихода, я сам для себя неожиданно написал на песке четыре буквы: «ИМЯТ». Имя т-вое... Написал и ломал голову: что бы это значило?.. Нет, чушь! Ерунда. Невероятно!

— Да, да, невероятно.

— Луна под мостом! Как я ее хорошо помню! А он? Галя! Он ведь тоже должен любить!

И глаза Гали потухли, и лицо сразу спало, стало старым.

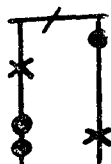
— Меня?..

Она поднялась.

— Пожалуй, нам пора спать... Нет, не меня уже, а ту... Мне-то теперь шестьдесят лет.. Спокойной ночи...

Она ушла, унося на поднятых острых плечах легкий ночной халатик, спадавший прямыми складками вдоль ее бесплотно сухонького тела.

Ушла, но верила и не слишком удивлялась.



ПОШЕЛ год с того момента, когда Александр Николаевич ощутил первый толчок вечером в спальне. По условию — только год должен находиться на планете Коллега его двойник. Год прошел, а Александр Николаевич продолжал его чувствовать.

Быть может, эта своеобразная реакция вызвана лишь умозаключением, что примерно в такое-то время должен «ожить» двойник.

Быть может, ощущения его вовсе не космического происхождения, а земного.

Он его продолжает чувствовать, но разве это доказательство, что связи не было?

Мог же посол Земли по каким-нибудь причинам задержаться там?

Мог и просто остаться навсегда. С его мозга лишь снимут информацию и пошлют на Землю. Живи спокойно до самой смерти среди коллегиян.

Стояла снежная зима с незлыми морозными перепадами. И деревья обрастали пышным инеем, и в черных переплетениях ветвей раскидывались гравюрно-чеканные сады, и верхушки берез, как окоченевший на морозе дым, и утопанные дорожки вкусно хрустели, и по ним в багряных мундирчиках прыгали снегири. Александр Николаевич не спеша шел по кружевной заиндеветшей аллее и радовался, что хотя ему уже пошел семьдесят первый год, но силы еще есть — наверняка это не последняя в его жизни зима. Он еще увидит счастливую путаницу опущенных ветвей, колючую искристость по голубым сугробам.

Прожитая долгая жизнь казалась значительной, но в ней был один недостаток — занятость. Некогда

было оглянуться кругом, заметить радостные мелочи — хотя бы этих надутых снегирей на снегу. Он скоро откажется от директорствования в институте — хватит, стар! — станет свободнее и уже не пропустит те маленькие подарки, которыми жизнь оделяет ежедневно. И будут лопаться почки весной, и придут еще ласково-теплые вечера созревшего лета, и осенью — ясная грусть, лимонно-чистый свет липовых рощиц. Хороша жизнь, черт возьми!

Внезапно, словно от поворота ключа, тоской сжалось сердце. Оглушающая тоска сразу, без переходов после легкой радости. И захотелось вдруг упасть на заснеженную землю, кататься по ней, иступленно ласкать и плакать от великой любви к деревьям в инее, к расколовшемуся на искры солнцу на взбитых сугробах. Только что минуту назад все это казалось собственностью. Твое! Никто не отнимет! Теперь — утрата.

Это он! Опять его власть!

Как просто странные и невероятные вещи объясняются его влиянием. Тот, Второй, тоже чувствует его, земного Александра Николаевича. До него донеслась радость: березы в белом кружеве! А кругом чужая, беспросветно туманная, парная планета! И мощный приступ ностальгии полетел в ответ.

Дома Галя угадала по лицу:

— Снова?

Он кивнул:

— Да.

— Что-нибудь страшное?

— Он там очень несчастен, Галя... Нечеловечески...

— Значит, ты теперь веришь в него?

— Нет... Не смею... Я, наверно, просто схожу с ума.

— Почему бы не предположить, что это возможно?

— Запрещает...

— Кто?

— Наука, Галя. Вся наука во главе с Эйнштейном.

— В свое время Ньютон многое запрещал Эйнштейну.

— Если б я мог доказать! Если б мог!.. Ты понимаешь, получается — я... я... должен уничтожить пространство!

— Эйнштейн объявил, что при скорости света время останавливается. Значит, при каких-то обстоятельствах время как таковое перестает существовать, и этому давно никто не удивляется.

— Ты хочешь сказать, что может уничтожаться и пространство?

— Почему бы и нет, при особых обстоятельствах, — спокойно сказала она.

«Почему бы и нет» — просто, ясно. А это значит — мир из слаженного, понятного, станет снова туманным, загадочным, пугающим. Это значит — потрясение, революция в сознании человека. Это значит — хаос в науке.

А если все-таки Земля вертится... Если дерзнуть... Почему бы и нет, как предположение, как до поры до времени туманная гипотеза...

Долгое время человек открывал лишь законы мертвой природы: движение тел, взаимное притяжение излучения, электромагнитные поля. А так ли давно под пристальное изучение попала живая материя, так ли давно заглянули в глубь клетки, открыли секреты белка, поняли тайну размножения? А самая сложная, самая высшая материя — мыслящая — за нее только что взялись всерьез. Уж наверняка она огорошит уче-

ных какими-то сногшибательными неожиданностями, наверняка откроются новые дали, а вместе с тем и новые, мучительные для науки загадки.

— Почему бы и нет?..

Но если так, то и нет предела величию человека, величию разума. Расстояния между звездами в десятки тысяч световых лет, расстояния между галактиками в миллионы, в сотни миллионов, даже в миллиарды световых лет, возможно будет укладывать в короткую человеческую жизнь. Пространство — самая неприступная крепость — выкинет белый флаг. Мыслящие существа объединятся, в неторопливо ленивом укладе Вселенной забьется новый темп жизни, и, кто знает, быть может, ему-то и суждено господствовать в далеком будущем.

Шаблин мечтал об этом. Мечтал, но не верил.

Страшно от этой вселенской дерзости, но почему бы и нет?..

Через три дня, сидя дома за своим рабочим столом, Александр Николаевич почувствовал легкую дурноту, уронил голову на бумаги..

Спал он не больше часа. Проснулся, удивленно оглянувшись кругом.

— Однако... Что бы это могло значить?

Он не чувствовал себя больше больным, дурнота прошла, но вялость ощущалась в теле, словно вынули какую-то пружину.

На столе неоконченные записи. Он стал их перечитывать. Они уже не волновали его, как прежде.

Он попытался внутренне сосредоточиться на своем двойнике и почувствовал, что вместо того, странного, таинственного четвертого измерения, — стенка.

Александр Николаевич впервые ощутил себя очень старым. Встал, волоча ноги, прошел в комнату жены.

— Галя, его нет...

— Умер?

— Не знаю... Сам умер, покончил самоубийством, просто исчез... Ему было очень плохо в последнее время. Очень плохо... — С горькой сморщенной улыбкой добавил: — Ну вот, я опять нормальный человек.

Перед ним сидел сын. Коротко подстрижен, по-спортивному подтянут, и только некоторая округлость в плечах да еще горделивое независимое выражение лица говорили о зрелом возрасте: Игорю исполнилось уже сорок лет. Сейчас он слушает отца, и в глазах сочувствие и настороженность.

Игорь должен поверить, и поверить настолько, чтоб взять на свои плечи исследования, подтверждающие возможность мгновенной биологической связи на бесконечно далекие расстояния. Он, Александр Николаевич Бартенев, слишком стар, ему не под силу возглавить громадную работу.

Но настороженность в глазах...

— Скажи прямо, — наконец рассердился отец, — слишком странно, сногшибательно. Не так ли?

— Странностями живет наука, — возразил Игорь. — Не странно — сложнее.

— То есть?

— Твои наблюдения или должны совершить революцию в науке, или...

— Или они не имеют никакой ценности, просто старик сходит с ума.

— Да, будет выглядеть примерно так, — спокойно согласился Игорь. — Но до революции наука про-

сто не созрела, не изболелась, чувствует себя здоровой. Слишком мало фактов, которые нельзя объяснить, скажем, теорией относительности.

— Поставим широкие эксперименты — появятся новые факты.

Игорь заговорил мягко, но в его мягкости — негнущийся железный скелет:

— Отец, ты же знаешь, что такое широкие эксперименты... Надо хотя бы в миниатюре повторить то, что произошло с тобой. Воссоздать не одну, а несколько копий мозга, забросить их в разные концы солнечной системы. Уж не говоря о том, что наш институт придется увеличить вдвое, потребуется еще новая отрасль промышленности... И все это потому, что люди должны безоговорочно верить ощущениям одного человека. Ощущения, которые никто, кроме тебя, не может пока подтвердить.

— Подтвердить может только он. Тогда меня уже не будет на свете, — невесело сказал Александр Николаевич.

— Он — это ты. Тебе, быть может, выпадет необычное счастье — возродиться после смерти. Счастье, которым люди осмеливались наделять лишь богов.

— Что-то грустно, сын, мне становится от этого счастья.

— А я бы его хотел для себя.

Александр Николаевич понимал: Игорь по-своему прав. Что он может привести в доказательство? Лишь личные, весьма туманные впечатления, в которых сам не уверен. Замахиваться на революцию в науке... А потом ему уже идет восьмой десяток, в его годы трудно рассчитывать на победу.

Остается только уверовать, что появится тот, второе его «я». Тому, второму, когда он приобретет плоть

на Земле, исполнится всего двадцать девять лет, он будет полон молодой энергии. И доказывать ему станет легче, на его вооружении—свои собственные наблюдения и наблюдения земного Александра Бартеньева.

Да сбудется небывалое счастье, да возродится он!

16

ЗЕЛЕННЫЕ дубы в парке стоят счастливые своей зрелой силой: корявые стволы, сплетающиеся толстые ветви, внизу у корней сырость, тянется молодая лопушистая поросль.

В центре парка, у полыхающей цветами клумбы, — укромное тенистое место с тяжелыми каменными скамьями под деревьями. Лет двадцать назад прошла мода на монументальное, резное, под старину. Мода изменилась, а каменные скамейки остались. Они позеленели, обветрились, приобрели вид неподдельной старины. Такие тенистые углы, наверно, встречались в королевских садах XVII—XVIII столетий. В жаркие летние дни здесь можно видеть сухонькую старушку и ширококостного старика в мягкой шляпе.

Галина Зиновьевна болела. Она никогда-то не отличалась крепким здоровьем, а в последние годы перенесла несколько тяжелых операций, частенько теперь повторяла со вздохом:

— Ах, как хотелось бы дожить до его возвращения! Нужно дотянуть до девяноста пяти лет, ну, чуть больше... Тогда бы я умерла спокойно.

Александр Николаевич слушал ее и думал, что, пожалуй, и на самом деле она всю жизнь больше любила ту его половину, которая улетела с Земли. И это не огорчало его.

Весной, на восемьдесят первом году своей жизни Галина Зиновьевна окончательно слегла.

Цвел сад за окном — метель снежно-белых цветов застывшие висела над распаренной землей. А дом был погружен в сумрачную тишину. Люди старели, а мир за окном оставался по-прежнему молодым.

Приехал Игорь, бледное лицо, глаза кажутся черными. Быстро прошел в комнату, где лежала мать.

В Америке в этот день собирался международный конгресс ученых и общественных деятелей. Бартеньев-младший должен был открывать его. Неподалеку от дома, сложив невесомые крылья, как приготовившийся к прыжку большой серебряный кузнечик, ждал энтомоптер. А в межконтинентальном аэропорту дежурил скоростной самолет, готовый перебросить через океан знаменитого ученого.

Александр Николаевич, четыре ночи проведенный без сна, сидел в кресле в углу гостиной, напротив экрана телевизора, не в силах пошевелиться. Мысли в ужасе шарахались от главного, от неизбежного, кружились, как мухи, вокруг случайных вещей... Вот телеэкран... Давным-давно висит он в этой комнате... Давным-давно — Александр Николаевич был молод — видные ученые приветствовали его из этой потускневшей теперь рамы: «Доброе утро... Тема сегодняшней лекции...» В те годы такой экран считался новинкой, последним словом техники, сейчас, увы, старомоден, другие бы хозяева выбросили его на свалку... «Доброе утро... Тема сегодняшней лекции...» Тогда-то и познакомился с Галей...

Вошел Игорь. Глаза пугающе тусклы, губы слинявшие, безжизненные. Подошел к отцу, погладил плечо, хотел сказать что-то — и... отвернулся. Александр Николаевич ничего не спросил.

Сутулая спина Игоря, острые лопатки, седина в волосах. Вот и дожил Александр Николаевич до того дня, когда увидел седину в голове сына. Все можно побороть, но только не беспощадность времени.

Игорь, тяжело согнутый, словно седеющая голова тянет к земле, подошел к экрану, набрал номер. Экран медленно, медленно заполнился светом, сначала размытым, ничего не выражающим, затем проступили тени, вызрели цветные пятна, они крепили, приобретали четкий рисунок.

Зал — огромная чаша, накрытая прозрачным куполом, на который навалилось темное небо. Здесь утро, там вечер. Люди, люди, люди в пестрых одеждах, сидящие ряд над рядом.

— Алло! — крипло бросил Игорь. — Говорит Бар-тенев.

Зал исчез, появилось изображение человека с профессорской голубовато-седой шевелюрой.

— Игорь Александрович, как у вас?..

— Я не смогу явиться... У меня...

Молчание.

— Извинитесь за меня перед всеми.

Человек с экрана смотрел подавленно.

— Все поймут ваше горе, — сказал он тихо.

И снова зал, гигантская чаша, заполненная до краев лучшим из лучших, что есть на свете, — выдающимися умами мира.

Вдруг ряды колыхнулись; все люди, все до единого поднялись с мест. Тишина...

Всемирный конгресс почтил вставанием память женщины, самой обычной из обычных. Она не сделала ни одного открытия, не удивила народы ни взлетом дерзкой мысли, ни всплеском яркой фантазии. Единственная заслуга ее жизни — родила одного из

самых достойнейших членов этого высокого собрания, кого ждали, в ком нуждаются.

Тысячи выдающихся людей почтительно стояли, подавленные тишиной и величием минуты.

С этого дня в парке, возле клумбы, на каменной скамье, он стал сидеть вечерами один. Несколько громоздкий, не лишенный старческого величия, часами оставался наедине со своими мыслями, перебирал день за днем долгую жизнь, в общем-то счастливую.

Однажды к нему подсел молодой человек. Легкий костюм плотно облегал широкие плечи; сдержанной расцветки галстук под тон сорочки — вкус к одежде — и крепкий румянец, растворенный в густом южном загаре, говорили, что этот человек дорожит маленькими прелестями жизни. Но в его цветущем лице застыло какое-то несолидное птичье раздражение.

Он обратился:

— Я должен бы начать с того, с чего все начинают, — представиться. Но мое имя ровным счетом вам ничего не скажет.

И старик приподнял шляпу.

— Чем обязан?

— Я очень недоволен собой, — сообщил незнакомец.

— Бывает...

— Мне двадцать пять лет, а ничего еще не сделано в жизни.

— Двадцать пять лет — это не так и много, смею вас уверить.

— Самое главное — не надеюсь что-нибудь сделать.

— Напрасно.

— Я спортсмен. У меня железное здоровье.

— Охотно верю.

— У меня к вам предложение.

— Слушаю.

— Потребуйте, чтобы ваш интеллект пересадили на меня.

— Зачем? — спросил старик без удивления, почти равнодушно.

— Затем, чтоб получился полноценный человек. Не уносите ваш интеллект в могилу.

— Вы же знаете, что это невозможно. Вместе с моим одряхлевшим мозгом ваш организм получит мою незавидную старость. Вы только на шестьдесят лет станете ближе к могиле.

— Я это знаю, — нетерпеливо дернул плечом незнакомец. — Но в архивах института лежит запись вашего мозга, сделанная тогда, когда вам было всего двадцать восемь лет.

— Положим...

— Попросите, чтоб перенесли его на меня. Я же готов.

Старик не сразу ответил, смотрел в землю, сложив на коленях сцепленные пальцы со вздутыми суставами.

— Вы согласны? — переспросил незнакомец.

— Нет.

— Почему?

— По многим причинам.

— А именно? Ведь это же будете вы! Вы, а не я! Молодой и сильный, способный снова работать.

И снова старик задумался, вздернув плечи, опустив к земле голову.

— Как скучно было бы на Земле, если б люди повторялись, — сказал он.

— Разве плохо, если будет повторяться хорошее?

— Стереть все, что я нажил, все эти десятилетия труда, счастья и горя, эти знания и опыт. Просто стереть, а потом начинать сначала, да еще со старомодным, отсталым больше чем на полстолетие мозгом. Бессмысленно, молодой человек.

— Стереть? Простите, но смерть все равно согрет.

— Но вместо меня появится на земле кто-то новый, ни на кого не похожий.

— А если вместо вас появится какой-нибудь бесполезный болван?.. Вроде меня...

— Не считайте людей по единицам, считайте их поколениями. Я же верю: поколение от поколения рождается умнее.

— Умнее, потому что со временем копятя человеческие знания!

— Нет, не только поэтому. Мозг младенца-неандертальца качественно был более восприимчив, чем мозг младенца-питекантропа, так же как мозг современного младенца отличается весьма заметно от двух предыдущих... В общем и целом вместо меня появится человек, чуточку превышающий меня по своим природным данным.

— Значит, вы не согласны?

— Нет. Вы обратились не по адресу. Вполне возможно, через некоторое время появится второй Александр Бартедьев... С Коллеги... Такое возрождение имеет смысл, тут уж я не протестую. Посудите, стоит ли плодить на свет еще одного Александра Бартедьева. Не многовато ли их будет?

— Вы не согласны?

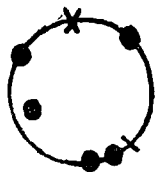
— Нет.

— Прощайте.

— Всего вам хорошего, мой друг. Старайтесь быть не похожим ни на кого. Цените свою индивидуальность...

Незнакомец ушел, а старик глядел в землю, изредка покачивая головой.

17



И СКОНЧАЛСЯ девяноста двух лет.

Его похоронили в институтском парке, посреди клумбы, в окружении могучих дубов. На монолитной плите была краткая надпись:

БАРТЕНЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Он не бог, но он возродится!

Через восемь лет астрономические радиообсерватории, работающие на связи с планетой Коллега, приняли сообщение:

«Информация коры головного мозга жителя солнечной системы принята полностью».

И после этого из года в год по несколько раз однотипные сообщения: «Работы по воссозданию мозга посланца солнечной системы ведутся успешно».

Один год, другой, третий — пять лет: «Работы по воссозданию мозга ведутся успешно».

Люди ждали...

По истечении пяти лет в разгар лета на северном полушарии дежурные аппараты многих астростанций просигналили: «Внимание! Чрезвычайно важно!» И хотя автоматы космической связи могли бы без помощи людей принять депешу, астрономы бросились к контрольным лентам,

На лентах появились какие-то странные знаки, совсем непохожие на тот сложный код, по которому велись переговоры с коллегиянами. Точки, тире, тире, точки... И сразу узнали: «Да ведь это же азбука Морзе!»

«Мои братья! Мои сестры! Люди Земли!

Говорит Александр Бартеньев! Говорит Александр Бартеньев с планеты Коллега системы звезда Лямбда Стрелы!

Мне дана жизнь. Никаких отклонений от нормы не наблюдается. Восхищаюсь искусством коллегиян, горжусь своей наукой. Коллегияне радуются вместе со мной. Пока общаюсь с ними через звездный код. Изучить их языки не представляет трудности.

Хотел бы обнять каждого из вас

А л е к с а н д р Б А Р Т Е Н Ь Е В».

А вслед за этим снова звездный код. Взяли слово коллегияне. И впервые от планеты Коллега летели не сухие научные сведения, не деловитые запросы, а эмоции. Система кода не слишком-то была приспособлена к их передаче.

Весь год шли сведения от Александра Бартеньева — научные сведения. Только изредка всплеск наболевшей души, скупое переданное все той же азбукой Морзе: «Очень скучаю по Земле. Часто вижу ее в тихие минуты».

В конце назначенного срока — год с момента возрождения — новое сообщение:

«Снята копия с моего мозга, ведется обработка. Информация начинает передаваться в самое ближайшее время. Коллегияне мне предлагают остаться у них. Можно будет держать постоянную связь. Намерен согласиться».

Через месяц — сигнал: «Чрезвычайно важно!»

В радиоастрономические обсерватории начали поступать первые сведения из обширной радиограммы о мозге Александра Бартеньева, нагруженном новыми знаниями, новыми впечатлениями.

Институт мозга получил обработанные данные...

Институт мозга разослал объявление:

«Нужен доброволец для прививки интеллекта Александра Бартеньева. Непременные условия: возраст — 25 лет, идеальное здоровье...» Подробное описание: группа крови, классификация нервной ткани и т. д. и т. п.

И добровольцы, пожелавшие забыть свое собственное «я», превратиться в Александра Бартеньева, взяли в осаду Институт мозга.

Из первой же сотни придирчивая медицинская комиссия отобрала некоего Георгия Миткова, атлетически сложенного гимнаста из Софии.

С планеты Коллега от Александра Бартеньева была принята неожиданная, странная радиограмма:

«Меня пытаются лечить, уничтожив память о Земле. Не хочу! Не могу! Знаю, что скоро умру... Надеюсь, что возрожусь...»

Несколько дней спустя новое, еще более странное сообщение: «Видел зиму. Кончено. До встречи на родине!»

Это была последняя весточка от космического Александра Бартеньева. После нее с Коллеги передали математическим кодом сухое сообщение, что посланец солнечной системы перестал существовать.

А в спортивном зале Института мозга молодецково вертелся на брусках Георгий Митков, статный парень с худощавым лицом, украшенным суровыми бровями. Он с хладнокровием тренированного спортсмена

ждал, когда его позовут на операцию, после которой он забудет свое имя, свои привычки, свой характер и станет Александром Николаевичем Бартедьевым.

Целых четыре года сотни лабораторий Института мозга, более тысячи научных работников создавали комочек вещества, объемом едва достигавшим 1 500 кубических сантиметров. Десятки заводов и фабрик, конструкторских бюро по первому требованию разрабатывали, поставляли новую аппаратуру.

Целых четыре года — не так уж и много. Природа бы выращивала такой мозг почти три десятилетия.

Все эти годы Георгий Митков жил в институте, у него постоянно брали анализы, его изучали со всей скрупулезностью, на какую только была способна современная наука. Ткань нового мозга должна быть подогнана под его ткань, иначе организм подымет бунт, со всей энергией, усиленной железным здоровьем этого человека, чужое, инородное тело будет отвергнуто, белые кровяные тельца атакуют мозг, череп превратится в воспаленный гнойник.

Когда Георгий Митков вошел в операционный зал, ему исполнилось двадцать девять лет, примерно столько же, сколько прожил во плоти Александр Бартедьев номер два.

Все случилось по заранее рассчитанному плану: четыре года подготовки, сорок пять минут — операция... После операции больного накрыли прозрачным футляром, совершенно изолировавшим его от внешней среды. Он лежал под простыней, в пластмассовом шлеме, со спокойным лицом, как сказочная спящая царевна в хрустальном гробу.

А вокруг этого странного саркофага неподвижно стояли люди в халатах — молодые и старые, мужчины и женщины, с одинаковым выражением напря-

женности и подавленного ожидания на лицах. Они стояли и смотрели на приборы, показывающие дыхание, ритм сердца, состав крови, деятельность уснувшего мозга. Стояли десять минут, полчаса, час, ждали, не начнется ли воспалительный процесс.

Профессора молчали.

Наконец поджарый, морщинистый старичок с молодцеватой выправочкой и властным взглядом невылинявших глаз произнес: «Пока все в порядке».

И люди облегченно вздохнули.

Прозрачный саркофаг вместе с аппаратурой мягко двинулся с места, беззвучно распахнулись перед ним двери операционной.

Люди в халатах несколько минут шагали следом, потом стали расходиться по коридорам.

Саркофаг въехал в темную комнату и остановился. Двери плотно прикрылись. Двери прикрылись на две недели. Целых две недели больной будет спать, заботливые аппараты станут кормить его, прибирать за ним, следить за малейшими отклонениями в организме, сообщать о них людям. А людям вход запрещен.

Директор института, тот самый сухонький старичок с гладко зализанными седыми волосами на черепе и покоящимися среди морщинистых властных невылинявших голубыми глазами, включил телеэкран. На нем проступил прибор — ритмично выплывала зеленая ломаная линия, указывающая, что мозг пациента возбуждается.

— Открыть шторы! — приказал директор.

— Не будет ли шока? Солнце на улице. Слишком большая неожиданность, — возразил кто-то невидимый.

— Солнце? Тем лучше. Пусть радуется возвращению. Я сам войду к нему,

В изолятор через широкое окно вливалось солнце, дробилось на зеркальных частях аппаратуры.

Прозрачная крышка саркофага откинута в сторону. Над ложем больного поднята рука, она ловит солнечные лучи.

— Вы проснулись? — негромко спросил директор, не отходя от порога, и сразу же строго одернул: — Не ворочаться!

Сначала раздался квакающий звук, потом голос:

— Речь! Своя речь!.. Нет, нет, я не повернусь...

А вы подойдите.

Директор, мягко ступая, подошел.

— Как чувствуете себя?

Рука ловила солнечный свет.

— Солнце! Солнце!.. Там было очень туманно. Ни разу не видел их светила... Я на Земле?

— Да.

— И рука... У меня человеческая рука.

Рука сжалась в кулак, согнулась в локте, вздуваясь пробежали под кожей мускулы.

— Ого! Мне судьба ходить в роскошных мундирах. И там меня нарядили отменно. По их вкусу... правда...

Рука начала ощупывать плечо, выпуклую грудь.

— Богатыря раздели... Что я буду делать с такой горой мускулов?

Счастливый смех.

— Скажите, кому я обязан этим? — Рука погладила поверх простыни тело.

— Его звали Георгий Митков.

— Георгий Митков?.. Спасибо тебе, брат.

На подушке под шлемом суровые брови Георгия Миткова, худощавое лицо с крепкими челюстями и крупным носом. Но в этом знакомом лице случилась

уже какая-то перемена, что-то неуловимо иное легло на черты.

— Профессор, мне вас плохо видно. Встаньте поближе... Вот так... Профессор, что это? Почему вы плачете?.. Все хорошо, профессор. Ах, как хорошо оказаться дома!

18

ВЫСОКИЙ, статный, с горделивым разворотом широких плеч, из просторного ворота сорочки — крепкая, как столб шея. А походка не прежнего Георгия Миткова, не упругая, легкая, а более вяловатая, вдумчивая. Знакомая походка...

— Воробьи! Смотрите, воробьи! Ах, черт!

Он удивлялся всему: воробьям, облакам на голубом небе, косою тени от здания.

— Это что ж... те самые дубы?.. — Сразу же погрузнел: — Когда улетал с Земли, они были чуть выше меня.

Но грусть на минуту.

— Бабочка!.. Ай-яй! Вы не представляете, как у нас здесь красиво! И зима впереди. Зима! Снег увижу!

Последнее, что он видел в прошлый раз на Земле, — бледное от зеленого света крупное лицо со вскинутыми, как птичьи крылья, бровями да мигающий глазок аппарата. А потом на секунду тьма, только на секунду, и снова свет — рассеянный, дымчато-мягкий, уже не земной.

Тот человек с крупным лицом и вскинутыми мрачными бровями уже давно умер. Умерли, пожалуй, все, кого он знал, умер Шаблин, умер и... Не стоит об этом думать. Прошло восемьдесят два года.

Этот старичок, что ведет его к себе домой, — директор Института мозга Игорь Александрович Бартеньев. А его же самого зовут Бартеньев Александр Николаевич. Этот старичок, по сути, его сын.

Над прямыми острыми плечиками — морщинистая шея, жалкие косички волос из-под круглой профессорской шапочки, — восемьдесят лет ему. И двадцатидевятилетний Александр Бартеньев вглядывается в того, кто может считаться его сыном.

— Заходите. — Сын-старик распахнул дверь. — Пройдемте в кабинет. Нам нужно кое о чем поговорить. До открытия пресс-конференции есть еще время.

В кабинете Александр Бартеньев стал оглядываться.

— Вы знаете, — произнес он, — мне кажется, я здесь бывал.

— Вы не могли здесь бывать. Дом этот выстроен, когда мне было двадцать пять лет. То есть после вас.

— И все-таки я здесь многое помню... Этот стол, это окно... И вас, как ни странно, помню. Не юношей, но еще достаточно молодым. И почему-то вы вспоминаетесь в какой-то старинной одежде: мятый черный костюм, кожаный пояс, пистолет на боку, плоская шапочка с лентами. Даже швы у одежды помню — грубые, неуклюжие. Могло это быть?

Морщины на подвижном лице Игоря Александровича натянулись, стали четкими и жесткими.

— Одну минуточку...

Старик вышел, чеканя по паркету скупые шажочки.

А Александр продолжал оглядываться. Он многое узнает, чего не должен бы знать. Он вспоминает худенькую женщину с большими удивленными глазами и с мягкими морщинками на лице. Она появлялась там перед ним в покойные минуты, и покой всегда кон-

чался. И уж тогда хватали за душу другие воспоминания, реальные, на которые он имел право.

Вспоминался мост над рекой, корчащаяся, рвущаяся с места луна на черной воде. Вспоминался жиденький парк, молоденькие деревца и она в слепяще белом халате, сверкающая плотными зубами... И запах ее волос, и блеск ее глаз в темноте, и колючий отсвет падающей звезды в зрачках... «Ханской сабли сталь».

Игорь Александрович вернулся с альбомом, обтянутым потертой кожей. Альбом стар, как сам семейный уклад. Александр протянул к нему руки.

— Батюшки! Альбом-то бабушки.

— Отец привез...

— А-а...

— А вот это узнаете?—Игорь Александрович протянул фотографию.

— Да... Именно таким и представлял.

На фотографии — старомодный матросик в лихо посаженной на ухо бескозырке, с маузером на боку.

— Именно таким.

— Играл в Театре без зрителя матроса с «Авторы». Это было. Это было... Да-да, как раз в тот год, когда вы разъезжали по Коллеге.

— Он вам сообщал что-нибудь? — спросил Александр.

— Мой отец?

— Да.

— Вот для этого-то я вас и пригласил.

Игорь Александрович достал из стола папку.

— Заметки отца. Его завещание... Просил передать вам. Если вы подтвердите то, что он записал, на научном небосклоне грянет гром. Возьмите.

Александр принял папку.

— Хорошо... А сейчас... Я бы попросил...

— Все что угодно.

— Я бы попросил показать фотографию вашей матери.

Игорь Александрович вскинул взгляд — голубой, острый, понимающий, вскинул и опустил, порывшись в альбоме, достал большую карточку.

Цветной портрет, снятый недюжинным художником-фотографом. Тонкая рука свисает с подлокотника, сдержанно-серые глаза и успокоенно-вдумчивый взгляд в себя. Нет, не та, которая когда-то читала варварски сильные стихи у старого солдатского памятника.

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ,
Имя твое — пять букв...

Для него только год назад читались эти стихи. Год назад всего! Помнил их, повторял про себя. Что знал, открыл коллегам, все отдавал с радостью. Великое счастье поделиться тем, что знаешь. Но эти слова он прятал, это было его, личное, вряд ли чужой мир понял бы их, как он понимал.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всклипнет так, как тебя зовут...

Год назад, а ее давно уже нет в живых... И все люди теперь кругом новые. Все знакомое, все родное отошло в прошлое. Вернулся на родину. А на родину ли? Его родина на восемьдесят с лишним лет позади, не вернуть ее. Странник, заблудившийся во времени.

Нет ее в живых, а она была единственная, она-то не повторится!

Александр глядел на портрет, пальцами, сложенными в щепоть, поглаживал висок.

Игорь Александрович невольно содрогнулся: «Отцовский жест!» Не умом, а всем нутром он только теперь почувствовал, что перед ним стоит его, им похороненный отец, с другим лицом, в другом теле, но его отец, моложе старика сына на пятьдесят лет.

Он включил телеэкран. В узкой рамке — сад, заполненный крикливо-веселыми цветами и солнцем.

— Галочка, где ты? — спросил Игорь Александрович.

— Здесь, дедушка.

— Приготовила — я просил?

— Да, дедушка.

— Неси.

Через минуту озорно-звонкий стук каблуков под дверью, робеющий голос:

— Можно?

— Входи, входи.

Сначала в дверях огромный букет цветов, жаркие астры, от них влажно-землистый запах по всей комнате. Из-за букета вынырнуло лицо — мягкий овал подбородка, тонкий нос, тень от потупленных ресниц, под ними влага глаз, таящая непобедимое любопытство.

— Да что ж ты стоишь? Отдай!

Ресницы вскинулись, глаза открылись — и куда же делось любопытство зверька? — постновато-доверчивые глаза, без хитрости, вся душа нараспашку.

— Возьмите.

Обронила слово, уронила ресницы, смущенный румянец пополз по щекам.

— Спасибо.

Неуклюжие, широкие, сильные руки задели ее пальцы. Оба одновременно вздрогнули.

— Спасибо, — повторил он, не зная, что сказать, как поблагодарить.

— Иди, Галя. И мы сейчас выйдем.

Галя... Мелькнули темные волосы, плечи, покрытые загаром, захлопнулась дверь. Остался оглушающий своим горячим цветом букет и сложный запах влаги, земли, травы, той потайной ароматной прохлады, которая всегда держится у корней. Эта не похожа на ту. Ну и что ж? Нет повторений, но прекрасное не умирает на Земле. Ничто не тернется совсем.

А старик-сын от житейской мудрости не заметил смущения своего слишком молодого отца, сказал:

— Возьмите, этот букет, он вам пригодится сейчас.

Столетние дубы, корявые, в тупых наростах стволы — наглядное воплощение пролетевшего времени. Столетние дубы и массивные скамейки, густая тень и нервно дрожащие солнечные пятна.

Под деревьями в этом глухом углу парка людно: вооруженные до зубов фоторепортеры, операторы кино и телевидения, ученые.

Посреди пестрой цветочной клумбы — могильная плита. Александр остановился над ней:

БАРТЕНЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Он не бог, но он возродится!

Александр опустил букет горячих астр на гладкий, нагретый солнцем камень, на могилу, в которой, собственно, лежал он сам. А со всех сторон щелкали нацеленные на него аппараты.

Постоял, кивнул головой и пошел к институту, где с разных материков собрались ученые, корреспонденты, общественные деятели слушать его первую лекцию.
